

# ЗАРУБЕЖНАЯ ИСТОРИОГРАФИЯ

*В. И. Меньковский*

*Минск*

## **Ревизионистское направление англо-американской историографии советской истории 1930-х гг.**

На рубеже 1960–1970-х гг. англо-американская советология претерпела серьезные внутренние изменения. В послевоенные годы в ней задавали тон политологи, но к началу 1970-х гг. среди советологов увеличилось число историков. За 75 лет (1876–1950) в США, в Канаде было защищено 250 докторских диссертаций, посвященных России и Советскому Союзу, а за десять последующих лет — свыше 600<sup>1</sup>. Значительно расширилось преподавание советской истории в американских университетах. Если в конце 1950-х гг. курсы по истории СССР были в планах 50 % исторических факультетов, то в 1980 г. — 77 %. 228 факультетов к середине 1980-х гг. имели специализацию по истории России до 1917 г. и 230 факультетов — по истории СССР после 1917 г.<sup>2</sup> О масштабах подготовки советологических кадров свидетельствуют темпы выпуска специалистов: за 20 лет в (1950–1970) степень бакалавров в этой области получили 5666 человек, степень магистра — 2514 человек<sup>3</sup>.

Изменения происходили не только в организационной сфере. Тематика и методология исследований также претерпели серьезную трансформацию, что и нашло отражение в формировании «ревизионистского» по отношению к тоталитарной парадигме направления в советологии.

Слабость тоталитарной модели в объяснении послесталинских изменений в Советском Союзе была очевидной. Модель предполагала, что тоталитарные режимы бесконечно воспроизводят себя (можно даже использовать понятие «клоннируют»), а изменения допускала лишь как результат внешнего воздействия. Однако советский режим чрезвычайно заметно изменился и потерял многие «тоталитарные» характеристики. Основные составляющие тоталитарной парадигмы были четко очерчены. Советская система во времена Сталина являлась неплюралистичной, иерархической диктатурой, в которой решения принимались лишь на вершине политической власти. Идеология и насилие были монополизированы правящей элитой, которая направляла свои приказы и распоряжения через организованную по военному образцу сеть учреждений, созданных на основе ленинских принципов построения партийной организации. Ленинские недемократические нормы были сохранены и усилены Сталиным, находившимся на верху элиты и обладавшим неограниченным контролем над всеми сферами жизни. Большинство серьезных событий являлось претворением в жизнь сталинских планов и идей, в свою очередь вызванных его личными интересами и психологическим состоянием. В Советском Союзе не существовало автономных сфер общественной и политической активности. Однако в некоторых, наиболее тонких, исследованиях признавалось наличие групп интересов, таких как партия, госаппарат, армия. Но в любом случае советские граждане и рядовые члены

партии оставались вне политического процесса и были лишь объектом манипуляции сверху. Тоталитарная теория никогда не отрицала зависимость режима от общества, но рассматривала общество только как пассивный субъект, поскольку социальная поддержка режима достигалась посредством пропаганды и поддерживалась насилием. Неотъемлемой чертой режима был систематический, планируемый сверху террор, проникавший в каждый уголок общества.

Такой взгляд на сталинскую систему, как всякая научная парадигма, в определенный период времени давал удовлетворительную возможность для интерпретации происходивших событий. Тоталитарная теория никогда не была абсолютно догматичной и долгое время выдерживала критику в свой адрес и конкуренцию с альтернативными подходами к изучению Советского Союза. С ее помощью были поставлены вопросы и предложены методы исследования. В течение десятилетий исследования проводились в предложенных границах и в целом позволяли восполнять пробелы в понимании советской системы. В результате было опубликовано значительное количество серьезных научных работ.

Дж. Гетти и Р. Мэннинг считали, что тоталитарная модель отражала единство научного сообщества в том, что, как казалось, был найден приемлемый вариант объяснения советских реалий. Как и все научные парадигмы, она имела под собой определенные основания. Работы и заявления активных антисоветских и антисталинских политиков в сочетании с мемуарами жертв режима и ограниченным кругом других источников из закрытого советского общества создавали впечатление существования монолитной диктатуры, сохраняющейся благодаря террору. Доступные в то время свидетельства обосновывали тоталитарное видение как логичное, честное и научное<sup>4</sup>.

Но совершенно естественно, отмечали Дж. Гетти и Р. Мэннинг, что в процессе работы в рамках определенной парадигмы начали возникать нерешенные вопросы, «аномалии», на которые тоталитарная теория не находила ответов. Их количество значительно увеличилось после того, когда изучением сталинского периода наряду с политологами стали заниматься историки, которые в большей степени концентрировали внимание на обществе и его влиянии на политику, а не только на структурировании моделей власти. В 1970-е гг. новая генерация исследователей стала применять новую методологию для изучения сталинского периода. Замена господствовавших в течение длительного времени методов исследования дала возможность изучать сталинский период именно как исторический.

Отвержение тоталитарной модели было стартовой точкой для западного ревизионизма, ставшего реакцией части молодых ученых США на доминирование исследователей старшего поколения, принадлежащих, с их точки зрения, к политизированной «научной школе холодной войны». В течение 1960-х гг., во время вьетнамской войны, эти теоретики подверглись атаке со стороны более критически настроенных представителей академического мира, которые отвергали то, что они считали «циничной манипуляцией политической теорией для служб интересов американской политики».

Однако отметим, что тоталитарная модель существовала в нескольких вариантах, и прежде чем подвергать ее критике, следует разобраться в ее сути. Две основные формы модели — операционная, описывающая существовавшее советское общество, и эволюционная, фокусирующаяся на истоках тоталитаризма и ответственности марксизма-ленинизма за сталинизм. Оценку операционной

модели удобнее всего провести в рамках анализа, предложенного Д. Истоном, — рассматривать политику в следующих системных терминах: «черный ящик», т. е. люди и органы, принимающие решения; «импульсы», идущие в «черный ящик» от общества и включающие в себя предложения, требования, просьбы; «результаты», т. е. решения, идущие от «черного ящика» к обществу, и «отклики» — реакция общества на принятые решения.

Это чрезвычайно упрощенная схема, но она помогает разобраться в дискуссиях, связанных с тоталитаризмом. Как отмечали А. Мейер и Г. Скиллинг, главная проблема операционной тоталитарной модели была не в том, что она раскрывала, а в том, что оставалось вне ее внимания. Она фокусировалась почти исключительно на результатах — решениях, принимаемых советскими лидерами, и контроле с использованием силы.

Лишь немногие ученые, например М. Фейнсон в работе «Как Россия управляется», рассматривали борьбу внутри «черного ящика» (за «тоталитарным фасадом»), вопросы социальной поддержки и несовершенство контроля. Но даже в детальном и сбалансированном анализе М. Фейнсона внимание к «импульсам» и «черному ящику» было минимальным. Его работу точнее было бы назвать «Как Россия контролируется». В работах других авторов этим составляющим политического процесса уделялось еще меньше внимания.

Говоря об истории критики тоталитарной модели, необходимо отметить, что она прошла несколько этапов, в течение которых выдвигались различные, часто противоречивые аргументы. Первые возражения прозвучали со стороны троцкистов, когда тоталитарный подход еще не оформился в сложившуюся систему взглядов. Они отрицали взаимосвязь ленинизма и тоталитаризма. Отрицание ответственности марксизма-ленинизма за сталинизм повторилось и в работах советологов-ревизионистов, критиковавших эволюционную модель и те аспекты операционной модели, которые подчеркивали идеологические «импульсы».

Представители «конфликтной школы» обращали мало внимания на социальные «импульсы» и «результаты» политики. Их критицизм был связан с тоталитарными взглядами на «черный ящик». Тоталитарная модель признавала наличие сильного диктатора и рассматривала идеологию как источник принимаемых решений. «Конфликтная школа», отодвигая на задний план идеологию, настаивала на признании постоянной жесткой борьбы внутри «черного ящика» советского руководства.

Операционная тоталитарная модель критиковалась также сторонниками теории «групп интересов», рассматривавшими вопросы предложений, информации, т. е. «импульсов», исходящих от общества, и социальной поддержки. «Бюрократию» они оценивали не как правящий класс в марксистском понимании, а как образованный средний класс с внутренними конфликтами и различными интересами. Представители этого направления вели исследования в русле социальной истории. Однако их критика тоталитарной модели относилась к послесталинскому периоду советской истории.

Критицизм советологов-ревизионистов, чрезвычайно резкий по тону, фокусировался, прежде всего, на злоупотреблениях научными стандартами ради уравнивания СССР с нацистской Германией. Многие ревизионисты считали, что это уравнивание служило оправданием американских военных приготовлений и военной угрозы в отношении Советского Союза.

Такая позиция представляется нам слишком политизированной. Многие исследователи, не принимавшие тоталитарную модель, все-таки признавали не только возможность, но и необходимость сравнения сталинизма и гитлеризма. Например, М. Левин и Я. Кершау в сборнике «Сталинизм и нацизм: Диктатуры в сравнении» писали, что обычное теоретическое возражение против исторического сравнительного анализа базируется на утверждении, что история исследует уникальные, неповторяющиеся события в отличие от научных дисциплин, имеющих дело с феноменами, которые могут повторяться и, таким образом, дают возможность для обобщения и конструирования моделей.

Как известно, существует мнение о том, что наука не имеет дела с уникальными объектами, а в истории каждое событие уникально; значит, история не может быть наукой в том же смысле, в котором наукой является, например, физика. В этой связи иногда выделяются две группы наук — номотетические, которые ищут законы, описывающие поведение сходных явлений, и идеографические, к которым принадлежит и история. Идеографические науки, как утверждают сторонники этой точки зрения, могут только описывать происходящее.

М. Левин и Я. Кершау считали эту дихотомию ошибочной. Только сравнение дает возможность понять уникальность. Сравнение заключается не только в поиске подобия. По крайней мере, столь же важно найти и объяснить фундаментальные различия сравниваемых обществ или систем. Но в стремлении объяснить «аномалии» исторического развития России и Германии, сравнивая их с либерально-буржуазными западными обществами, некоторые ученые скорее обращают внимание на несвершившиеся события, а не на то, что действительно имело место<sup>5</sup>.

Именно распространенность в научных кругах концепции тоталитаризма — по-настоящему сравнительной модели — являлась, по их мнению, одной из причин того, почему представлялось полезным сравнение нацистской Германии и сталинского Советского Союза. Хотя тоталитарная парадигма подвергалась серьезной критике многими исследователями, ее использование в качестве модели научного сравнения, а не пропагандистского механизма не должно вызывать возражения, даже если в результате окажется, что различий у сравниваемых систем больше, чем подобий. Целью является объяснение причин того, как такие во многом разные, а во многом похожие диктатуры практически одновременно были созданы в странах, значительно отличающихся друг от друга. Поиск «общих основ» значительно более полезен, чем перечисление одинаковых черт<sup>6</sup>.

Для советологии это представляется важным еще и по той причине, что многие аспекты истории нацистской Германии были изучены значительно лучше, чем истории Советского Союза. С нашей точки зрения, такой подход к тоталитарной модели представляется наиболее продуктивным. Авторы не критиковали или восхваляли выводы ее сторонников, а предлагали использовать возможности, заложенные в ней, независимо от того, сумели ли воспользоваться ими их предшественники.

А. Буллок, подготовивший фундаментальный труд «Гитлер и Сталин. Жизнь и власть: Сравнительное жизнеописание», подчеркивал, что ему было интересно сопоставление двух режимов в пределах конкретных исторических рамок, а также выявление как различий между ними, так и сходных черт. Его цель заключалась не в демонстрации того, что и та и другая системы являлись разновидно-

стью некоей общей категории, а воспользоваться приемом сопоставления, чтобы показать особые черты, присущие каждой из них<sup>7</sup>.

Отметим, что такой серьезный, действительно научный подход к столь спорному вопросу, как тоталитаризм, далеко не всегда присутствовал в англо-американской советологии. Чаще сторонники и противники концепции становились на путь взаимных обвинений, среди которых не последнее место занимало утверждение именно о превалировании политики над наукой в работах оппонентов.

В наиболее полном виде неприятие концепции тоталитаризма было выражено С. Коэном в работе «Переосмысливая советский опыт»<sup>8</sup>. Главу «Советология как призвание» из этой книги часто называют ревизионистским манифестом<sup>9</sup>. С точки зрения С. Коэна, советология, развивавшаяся как быстрорастущая «противоречивая и энергичная» область американской академической жизни в конце 1940-х — начале 1960-х гг., к началу 1970-х гг. была поражена глубоким кризисом. Советологическая литература стала интеллектуально выдохшейся, она просто повторяла или расширяла основные положения, развиваемые десятилетиями. Он прослеживал влияние холодной войны на формирование «консервативного согласия» в советских исследованиях, выразившегося в подчеркивании линейного развития от российского большевизма к сталинизму и господстве тоталитарной концепции. Советология перестала концентрироваться на неизвестном и начала праздновать достижение того, что стало аксиоматичным. «Если стандартная версия советской истории и политики была неоднократно опубликована к началу 1960-х гг., что оставалось для ярких, амбициозных новичков или для самой профессии?» — задает вопрос С. Коэн. Выход он видел в ревизионистском подходе к советской истории, при котором «советофобия» не будет оказывать превалирующего влияния и советология станет областью конкурирующих взглядов, подходов и интерпретаций, способных дать ответы на сложный, многоцветный советский опыт<sup>10</sup>.

Известный американский историк А. Рабинович отмечал в интервью «Беларускаму гістарычнаму часопісу», что ревизионистская теория была создана поколением, на которое влияли интерес к социальной истории, вьетнамская война, возможность работы в Советском Союзе. «Когда появились первые ревизионистские работы, нам стало ясно, что мы не знаем советской истории. История, написанная в Советском Союзе, и советская история, написанная во время “холодной войны” в Соединенных Штатах, — это извращение реальности»<sup>11</sup>.

А. Янов также высказывал подобную точку зрения: «Разумеется, советские идеологи пели осанну новому строю, тогда как антикоммунисты возглашают ему анафему, но, в принципе, теоретически между ними нет разногласий: и те и другие убеждены, что вековые образы политического изменения в России неприменимы к изучению советской действительности... Старое поколение советологов, выросшее за четверть века сталинской тоталитарной диктатуры, ожидало после смерти Сталина только новых сталиных»<sup>12</sup>.

Кроме американских исследователей, в методологическом, теоретическом и организационном оформлении ревизионистского направления участвовали: в Англии — группа историков из Бирмингема во главе с Р. Дэвисом; в Германии — специалисты по социальной и экономической истории Р. Лоренц, Х. Хауман, Г. Мейер и Д. Гайер; в Италии — школа, оформившаяся вокруг Д. Прокаччи во Флоренции (Ф. Бенвенути, Ф. Беттанин, С. Понс).

Сторонники тоталитарной модели подходили к СССР как к закрытой системе, фундаментально отличающейся от западной. Применяя эту модель, они пренебрегали возможностью политических изменений. Ревизионисты, наоборот, видели некоторое подобие в функционировании западных демократий и коммунистических государств. С этой точки зрения было возможно использовать в изучении СССР эмпирические методы и теории, применяемые к западным системам.

Многие исследователи чувствовали себя достаточно некомфортно, полемизируя с тоталитарной концепцией, так как она обеспечивала адекватные термины, описывающие страшные стороны сталинизма. Ученые продолжали использовать модель, поскольку не хотели забывать сталинскую жестокость или снижать степень осуждения насильственной коллективизации и террора.

Однако историки-ревизионисты перенесли критическое восприятие тоталитарной модели и на сталинский период. Основываясь на эмпирическом изучении советской истории, они находили в сталинском режиме не только системность, планирование и механизм властного контроля, но и очевидную импровизацию, стихийность и непоследовательность. Так, Дж. Хаф в значительно переработанном и измененном им издании книги М. Фейнсода «Как Россия управляется» (книга стала называться «Как Советский Союз управляется») постарался сбалансировать описание советской системы 1930-х гг., применив термин «неэффективный тоталитаризм». В 1980-е гг. историки-ревизионисты «второй волны» пошли еще дальше, заявив, что «неэффективный тоталитаризм» вообще перестает быть тоталитаризмом<sup>13</sup>.

Дж. Хаф писал, что, безусловно, советская политическая система стала более авторитарной при Сталине. Но в исследованиях западных авторов количество жертв сталинских «чисток» было чрезвычайно преувеличено, а вывод об «атомизации» советского общества не соответствовал действительности, поскольку советская «мобилизационная» программа была беспрецедентной попыткой интеграции, а не атомизации общества. Тем не менее научная литература продолжает говорить о тоталитарной системе. Это представление должно быть пересмотрено<sup>14</sup>.

Ш. Фицпатрик не дискутировала специально с тоталитарной моделью, однако, ее работы в значительной степени способствовали изменению направления «детоталитаризации» с послесталинского периода советской истории на время «сталинской революции»<sup>15</sup>. Она в первую очередь исследовала влияние сталинской политики на те группы советского общества, которые извлекали пользу из преобразований. В предисловии к сборнику «Культурная революция в России, 1928–1931» Ш. Фицпатрик писала, что авторы не стремятся в очередной раз рассматривать вопросы партийного вторжения в сферу культуры — традиционную тему предыдущих западных исследований. Их интересовали аспекты, связанные с выдвижением рабочих, их вхождением в ряды интеллигенции, заинтересованностью в успешной реализации сталинских планов<sup>16</sup>. Таким образом отвергалась одна из важнейших посылок тоталитарной концепции — полная пассивность общества.

С нашей точки зрения, тезис тоталитарной теории об отсутствии собственных интересов общества действительно был неверен. Советское общество не было монолитным, и интересы отдельных групп населения, конечно же, были дифференцированными. Вопросы, поднятые Ш. Фицпатрик, расширяли поле советоло-

гических исследований и заставляли отказываться от упрощенного понимания сталинизма. Во многих случаях сталинская политика приносила пользу отдельным социальным группам, сталинизм имел определенную социальную поддержку. Задача исследователей заключается именно в том, чтобы понять природу этой поддержки, так же как и природу сопротивления сталинскому режиму.

Неприятие тоталитарной модели было лишь одной из задач ревизионистского научного направления. Во многом продолжая советскую линию на десталинизацию конца 1950-х – начала 1960-х гг., западные авторы, прежде всего М. Левин и С. Коэн, писали с симпатией о большевизме и революции, указывая на базовые расхождения ленинского и сталинского периодов советской истории и считая сталинизм отклонением от правильного пути<sup>17</sup>.

Ревизионисты резко критиковали «теорию непрерывности», которая рассматривала сталинизм как логическое продолжение революции и ленинского этапа советской истории. Сталинизм явился наиболее логичным продолжением ленинизма, его теоретической концепции и политической практики. В основных чертах ленинизм и сталинизм представляли собой единое целое. Так, в сборнике «Преемственность и изменчивость в русском и советском мышлении», выпущенном в Кембридже в 1955 г., Т. Хаммонд писал, что анализ отношений ленинского периода показывает, что, хотя советский авторитаризм достигает крайней формы при Сталине, основа его заложена значительно раньше Лениным. А. Улам, задавая вопрос о том, с помощью какой политической силы Сталин занял господствующее положение в обществе, отмечал, что ответ необходимо искать, прежде всего, в характере большевистской партии в ленинские годы. М. Фейнсон подчеркивал, что Т. Хаммонд и А. Улам приходят к выводу, с которым он полностью согласен: хотя советский тоталитаризм достигает крайней формы при Сталине, его основа была заложена Лениным<sup>18</sup>.

Идея непрерывности, почти идентичности советской истории, не ограничивалась одним периодом времени или одной областью исследования. Она применялась ко всем сторонам жизни советского общества. Авторы исследовали, например, такие проблемы, как культ вождя или массовые репрессии в сталинские годы, и находили им частичное объяснение в ленинских методах политического лидерства и управления партией. Англо-американская литература 1950–1960-х гг. давала огромное количество примеров точки зрения, отмечавшей, что сталинская победа была не победой личности, а триумфом символа, человека, который воплотил и правила ленинизма, и методы их осуществления. А. Мейер писал, что сталинизм может и должен быть определен как образец мышления и действия, прямо вытекающих из ленинизма. Д. Тредголд считал сталинский режим логическим следствием господства однопартийной олигархии, стремившейся строить социализм в стране, которая не была к этому готова. Д. Решетар, находя различия между ленинизмом и сталинизмом достаточно существенными, все-таки отмечал, что они отходят на второй план перед тем, что является общим. Ленин заложил основы, которые были развиты Сталиным и логично завершились «большими чистками», т. е. массовыми репрессиями<sup>19</sup>.

Фактором, способствовавшим закреплению теории непрерывности в качестве господствующей в англо-американской историографии, была ее близость к концепции тоталитаризма, остававшейся базовой для западной политической мысли почти в течение 20 лет. Дискуссии, которые возникали при интерпрета-

ции советской истории, касались лишь отдельных аспектов, формулировок и не выходили за пределы теории тоталитаризма. В эти годы история и политология были почти едины в англо-американской советологии. В рамках рассматриваемого нами вопроса термины «тоталитаризм» и «сталинизм» для сторонников идеи непрерывности практически слились. Тоталитарная школа поддерживала идею непрерывности в развитии советского общества и внесла свой весомый вклад в поддержку этой идеи в академических кругах Запада. Теоретик тоталитаризма Х. Арндт в 1967 г. оценивала уверенность в неразрывной преемственности советской истории как господствующую тенденцию западного мышления<sup>20</sup>. Р. Такер отмечал, что должно было пройти длительное время, прежде чем западные историки пришли к пониманию необходимости анализировать сталинизм не только как следствие ленинизма, но и как самостоятельное явление<sup>21</sup>.

В 1950–1960-е гг. сталинский период в англо-американской историографии рассматривался скорее единым целым, практически не изменявшимся в течение времени, чем феноменом, имевшим собственную эволюцию. 1930-е гг. оценивались как время, когда большевистская, а не только сталинская система достигла зрелости и завершенности. Западные советологи воспринимали официальную доктрину как идеологию всего населения, зачастую не учитывая существенную разницу между официальной пропагандой и реальной жизнью, а процессы в советском обществе объясняли «внутренней тоталитарной логикой». Внимание в первую очередь фокусировалось лишь на некоторых аспектах советской истории — действиях руководства, государственном и партийном аппарате. Всем этим составляющим сталинской системы находились аналогии в предшествующих периодах советской истории. Так, Р. Слассер писал, что принятие тезиса о том, что ленинская политика напрямую привела к сталинской, вызвала у многих западных исследователей иллюзию, что проблема исторических корней сталинизма уже решена и больше не требует серьезного анализа<sup>22</sup>.

В 1960-е гг. безраздельное господство теории непрерывности стало вызывать критические отклики в среде западных исследователей. Дж. Хаф считал первую половину 1930-х гг. «большим отступлением» (термин Н. Тимашефа). Режим не только преследовал радикальных марксистов, но и отказывался от программ, с которыми они ассоциировались. «Отступление» середины 1930-х гг. было в большей степени связано с отказом от политики периода первой пятилетки, чем от политики 1920-х гг. С его точки зрения, непонимание западной историографией этого «разрыва» между первой и второй пятилетками привело к ошибочной трактовке многих чрезвычайно важных проблем советской истории и стало одной из серьезных причин поддержки тоталитарной модели<sup>23</sup>.

Целый ряд ученых, принадлежащих к англо-американской исторической школе, в той или иной форме отклоняли тезис о непрерывности. Среди них можно назвать Р. Такера, А. Рабиновича, С. Коэна, М. Левина. Эти авторы не соглашались с выводом о безальтернативности развития советского общества, концентрировали внимание в своих исследованиях на переломных моментах в истории СССР и большевистской партии. Они признавали, что элементы преемственности между Октябрьской революцией, ленинизмом и сталинизмом существуют, считали это очевидным, но предлагали не ограничиваться констатацией общего, находить не только сходства, но и различия в разных периодах советской истории. С их точки зрения, самый слабый пункт в концепции непрерывности

заклучался в неспособности объяснить события, связанные с усилением, а затем и полной победой в послеленинский период именно сталинского направления. Названные авторы утверждали о наличии бухаринской альтернативы сталинизму, согласовывавшейся с ленинскими взглядами последних лет жизни.

С точки зрения С. Коэна, вопрос о взаимосвязи большевизма и сталинизма являлся настолько важным для понимания советской истории, что следовало ожидать его серьезного обсуждения в англо-американской историографии. На самом деле в 1940–1960-е гг. дискуссий по этой проблеме практически не было, господствовала одна точка зрения. Идея непрерывности развития в значительной степени препятствовала пониманию необходимости изучения сталинизма как феномена с собственной историей, политической динамикой и социальными последствиями.

Непрерывность социального и политического развития объяснялась характером большевистского партийного режима и его агрессией против пассивного общества, ставшего жертвой режима. Взаимодействие партии, государства и общества полностью игнорировалось. Советология практически не уделяла внимания изучению общества, концентрируясь лишь на изучении режима, при характеристике которого термины «тоталитаризм» и «сталинизм» использовались как синонимы. Классическое обобщение такой позиции принадлежало М. Фейнсоуду, писавшему о «превращении тоталитарного эмбриона в завершённый тоталитаризм»<sup>24</sup>.

Советская история до 1929 г. рассматривалась лишь как прелюдия сталинизма, как процесс становления тоталитаризма. Например, А. Улам считал, что «после своей победы в Октябре коммунистическая партия начала движение к тоталитаризму»<sup>25</sup>. Даже Э. Карр и И. Дойчер, не разделявшие антипатию большинства советологов к большевизму и имевшие собственные взгляды на многие аспекты советской истории, соглашались с идеей непрерывности развития ленинского и сталинского периодов. Э. Карр писал о том, что «Сталин продолжил и развил ленинизм»<sup>26</sup>. И. Дойчер, несмотря на признание многих «отличий ленинской и сталинских фаз советского режима», считал, что сталинизм «продолжает ленинскую традицию». При этом И. Дойчер отмечал, что определение баланса между общим и противоположным является самой сложной проблемой, с которой сталкиваются исследователи советской истории<sup>27</sup>.

С. Коэн соглашался с тем, что этот вопрос входит в число наиболее сложных проблем исторического анализа и требует внимательного эмпирического изучения. С его точки зрения, сталинизм представлял собой крайность, чрезвычайный экстремизм во всех своих проявлениях. Например, проводилась не просто насильственная политика по отношению к крестьянству, а настоящая гражданская война; не просто репрессии, а террор в форме холокоста; не просто возрождение националистических традиций, а шовинизм; создание не просто культа вождя, а прославление деспота. Западные исследователи, характеризуя различные периоды советской истории, часто употребляли выражение «сталинизм без крайностей». С. Коэн считал, что такое выражение не имеет смысла, поскольку крайности составляли сущность сталинизма и именно они требовали объяснения историков<sup>28</sup>.

Одним из первых среди англо-американских исследователей высказался против теории непрерывности Р. Такер. Он подверг ревизии именно тот аспект, который казался большинству советологов абсолютно ясным и устоявшим-

ся. Р. Такер подчеркивал существенные отличия советской политической системы в 1930-е гг. по сравнению с предшествующими периодами. Большевистская система, на его взгляд, была однопартийной диктатурой с олигархическим руководством в правящей партии. Хотя в 1930-е гг. политическая система сохраняла многие традиционные для большевиков организационные формы, она базировалась не на власти партии, а на власти личности. Был совершен переход от олигархического партийного к автократическому вождистскому режиму. Власть продолжала употреблять привычную терминологию — партия, лидер, террор, марксизм, чистки и т. д., но термины принципиально изменили свое реальное содержание<sup>29</sup>.

Р. Такер интерпретировал сталинскую «вторую революцию» как «поворот к проводимой государством “революции сверху”, направленной, прежде всего, на превращение России в мощную военно-промышленную силу, способную сохранить себя во враждебном международном окружении и насколько возможно расширить свои границы»<sup>30</sup>. Эта цель была связана не только с желанием Сталина, являвшегося автономной политической силой, но и с долговременной традицией репрессивного российского государства. В этом контексте Р. Такер рассматривал русских царей, прежде всего Ивана Грозного и Петра I, как исторических предшественников Сталина и создателей модели автократического, централизованного, бюрократического государства, в котором репрессивная власть контролировала покорное население<sup>31</sup>.

Такой взгляд принципиально расходился с позицией сторонников тоталитарной теории, которые до сего дня подчеркивают приоритет других факторов в становлении сталинизма. Так, М. Малиа в книге «Советская трагедия: История социализма в России. 1917–1991» счел необходимым обратить первостепенное внимание на идеологию и политику, а не на социальные и экономические силы для понимания советского феномена. Он писал, что тоталитарная природа коммунизма не может быть объяснена продолжением традиций российского авторитаризма или восточного деспотизма. Коллективистский характер советского общества не может рассматриваться как продолжение российских общинных отношений. С его точки зрения, очень трудно найти взаимосвязи между старой и новой Россией в проводимой большевиками политике. Зато истоки этой политики легко найти в социалистических идеях ленинской партии<sup>32</sup>.

Подобную точку зрения в 1990-е гг. подтвердил и Р. Конквест, писавший в работе «Сталин: Разрушитель наций», что весь период сталинского пребывания у власти можно рассматривать как череду попыток привести реальный мир в соответствие с идеологическими фантазиями, а затем, когда это не удавалось, попыток навязать убеждение, что фантастический мир все-таки стал реальностью<sup>33</sup>.

Развитие сталинской системы, по оценке Р. Такера, прошло через несколько стадий. 1930-е гг. в свою очередь могут быть разделены на три периода: социальный поворот 1929–1933 гг.; борьба за выбор пути развития в высшем руководстве (междоусобица) 1934–1935 гг.; окончательная победа сталинизма над большевизмом и политическое завершение «революции сверху» 1936–1939 гг. С. Коэн считал, что для общего понимания сталинизма особенно важны 1929–1933 гг., с его точки зрения, замалчиваемые западной историографией. Именно в эти годы сформировались основные черты сталинской системы.

Позицию С. Коэна можно объяснить именно в контексте неприятия им теории непрерывности. Считая сталинизм отрицанием ленинизма, он должен был искать истоки сталинского режима во второй половине 1920-х гг. При таком подходе естественно выделение периода, когда Сталин и его сторонники одержали победу над «правой» бухаринской оппозицией и могли реализовывать свой вариант «построения социализма». То есть можно говорить о том, что, критикуя тоталитарную теорию за превалирующее внимание к политике верхов, С. Коэн использовал именно этот критерий для выделения стадий сталинизма. Подтверждением такой оценки может служить и его характеристика последующих периодов — «междоусарствия» и «политического завершения революции сверху». Однако следует отметить, что для подтверждения своей концепции он использовал и выводы М. Левина, основанные на методах социальной истории. М. Левин через «взгляд снизу» пришел к заключению, что формирование основных черт «зрелого сталинизма» не было результатом реализации большевистской программы. Более того, он считал, что оно не было и результатом заранее продуманного сталинского плана. Многие составляющие сталинизма конца 1930-х гг. просто являлись реакцией сталинского руководства на кризис, вызванный его собственными действиями в 1929–1933 гг.

С точки зрения М. Левина, три фактора были решающими в формировании феномена сталинизма: разрушение социальных структур и их постоянные изменения, связанные с индустриализацией; нестабильность аппарата управления; историко-культурные традиции. Все факторы действовали в одном направлении — укрепления веры во всемогущество государства и его символа — генерального секретаря. Советская бюрократия, новые институты власти и управления на практике действовали в направлении укрепления традиционных российских государственных традиций, таких как этатизм и национализм.

«Предшественники» Сталина, например Иван Грозный, Петр I, Николай I, также разрушали устоявшуюся социальную иерархию и создавали новые элиты. Возглавив новый правящий слой, они устанавливали автократические режимы. Сталин стал высшим бюрократом в течение короткого периода времени, резко сжав и ускорив исторический процесс. Он не удовлетворился ролью одного из элементов, даже очень сильного, в созданной им машине власти. Он занял положение базиса всей системы, человека, на котором держится абсолютно все, отождествляя себя с государством и историческим процессом. В тех случаях, когда возникала угроза, даже потенциальная, его месту в системе, он «перетряхивал» весь аппарат управления, включая его высшие уровни. Борясь за сохранение власти, он был готов разрушить созданный им механизм или направить его развитие по пути, далекому от реальных интересов страны<sup>34</sup>.

Для М. Левина сталинская модель управления являлась образцом власти, при которой социальная структура подчинялась и подстраивалась под имеющиеся государственные институты и была объектом контроля со стороны аппарата управления, представлявшего собой гибрид старого царского и нового революционного режима. Он отрицательно отнесся к оценке А. Улама, считавшего, что Сталин действовал деспотично и иррационально только в тех сферах, которые находились полностью под его контролем. В этих ситуациях ошибочная и безответственная политика определялась его «большевистским мышлением». Когда он действовал рационально, то это были действия выдающегося по-

литика. А. Улам оценивал Сталина как более важную политическую фигуру, чем Ленин. М. Левин категорически не соглашался с такой трактовкой, считая, что историк не должен использовать абстрактное понятие «большевистское (или коммунистическое) мышление», поскольку большевизм прошел стадии в своем развитии, менялся в зависимости от обстоятельств, и этот термин бессмысленно использовать вне исторического контекста<sup>35</sup>.

Позицию М. Левина, считавшего сталинизм «не столько прямым результатом большевизма, сколько автономным и параллельным феноменом, и в то же время могильщиком большевизма», поддерживал и Р. Дэниелс, писавший, что сталинский режим очень недолго представлял то движение, которое взяло власть в 1917 г.<sup>36</sup> Дж. Томпсон считал, что сталинизм эволюционировал в результате взаимодействия четырех элементов: авторитарных черт, присущих политической культуре царизма и ленинского большевизма; форсированной индустриализации и урбанизации; пассивности и низкого культурного уровня традиционного крестьянского общества; ментальности и заблуждений самого Сталина<sup>37</sup>.

А. Ноув приводил свою систему анализа соотношения ленинизма и сталинизма и доказательств того, что обстоятельства времени требовали сильного лидера и толкали политику в направлении «первоначального социалистического накопления», но при этом не оправдывал крайности сталинизма. Он также предложил определение «крайние крайности»: насильственная политика имела собственную логику и на практике реализовывалась со значительно большей жесткостью, чем это было действительно необходимо. А. Ноув называл эту ситуацию сталинщиной и подчеркивал, что, в отличие от сталинизма, для нее не было объективных объяснений. Сталинизм же он объяснял реальными обстоятельствами и писал, что легче представить Сталина, проводящего другую политику, чем ситуацию, в которой на посту лидера оказался бы не Сталин, а кто-либо другой из большевистского руководства. При этом А. Ноув подчеркивал, что даже если бы кто-нибудь из них оказался на этом посту, он вынужден был бы проводить политику, подобную сталинской. Уникальность сталинщины для А. Ноува заключалась в масштабе репрессий и в том, что они были направлены против своих (своих в двух смыслах — советских граждан и членов партии)<sup>38</sup>.

«Завершенный» сталинизм, со всеми его крайностями, не был обязателен, но возможность сталинизма была предопределена попыткой небольшой группы захватить и удержать власть, осуществить социально-экономическую революцию быстрыми темпами. В таких условиях некоторые элементы сталинизма были практически неизбежны. Варианты выбора на практике ограничиваются не только физической возможностью, но и идеологическими принципами. В Советской России 1920-х гг. со многими вариантами решения стоящих перед страной проблем коммунисты, находящиеся у власти, не могли согласиться только потому, что они были коммунистами. Коммунистам нужна была диктаторская власть, если они хотели продолжать управлять страной. Если они хотели проводить индустриализацию, они сталкивались с рядом проблем, которые для своего разрешения требовали еще большего ужесточения политического и экономического контроля. Принимая во внимание характер партийного аппарата, ментальность и уровень политического развития российского населения, логику политической власти, А. Ноув считал, что следует признать определенные элементы той политики, которая получила название «сталинизм», необходимыми. В этом смысле Сталин действовал как про-

должатель ленинского курса. Такой вывод не служит оправданием или осуждением действий Сталина, это лишь признание того, что сталинизм был во многом предопределен сложившимися обстоятельствами<sup>39</sup>.

Подобную точку зрения высказывал и Р. Петибридж. В работе «Социальная прелюдия сталинизма», сравнивая Ленина и Сталина, он приходит к выводу, что действия обоих были ограничены реальными политическими и экономическими обстоятельствами. Но если Ленин во многих случаях стремился бороться против их негативного влияния, то Сталин цинично манипулировал ими для достижения своих целей<sup>40</sup>.

Однако некоторые англо-американские исследователи находили возможным оправдать действия Сталина в сложившейся ситуации. Серьезный резонанс вызвала публикация Т. фон Лауэ «Сталин между моральными и политическими императивами, или Можно ли судить Сталина?». Он считал, что, подвергая суду других, мы всегда судим и себя. Оценивая Сталина, мы оцениваем собственную способность понять наше время, нашу страну и нашу способность предотвратить повторение сталинизма. Т. фон Лауэ спрашивал: «Какое право имеют американцы оценивать действия граждан российской империи во времена общественного хаоса и кризиса? Американцы всегда относятся к другим нациям и обществам так, как будто те имеют такой же исторический опыт и придерживаются тех же ценностей. Однако сталинизм формировался совершенно в других условиях, наши знания о которых остаются неполными и неточными»<sup>41</sup>.

Похожие взгляды были и у М. Малиа, по мнению которого Россия в XX в. – страна, не похожая ни на какую другую, а западноевропейцы, берясь судить о русской и советской истории, говорили о ней лишь с позиций своих надежд или страхов в отношении собственных обществ<sup>42</sup>. С. Коэн также считал, что «лучше оставить право моральной оценки советской истории советским исследователям. Ее трагедии и достижения, как и обязанность оценивать, – их, а не наши»<sup>43</sup>.

Далее Т. фон Лауэ отмечал ряд объективных сложностей, в которых оказалось советское государство, и делал вывод, что сталинский вариант ответа на эти проблемы был наиболее адекватен российским традициям и менталитету российских граждан. Исследователь признавал правоту знаменитой фразы Р. Конквеста о том, что сталинизм в такой же мере можно считать методом достижения индустриализации, как каннибализм – формой получения пищи, богатой протеином. Но он считал, что среди всех лидеров большевиков именно Сталин был наиболее близок русскому народу. «Организационный и моральный фундамент для сталинизма был подготовлен сложившимися обстоятельствами, и у Сталина хватило мужества и цинизма в полной мере воспользоваться этим». Сталинская революция была более значима, писал Т. фон Лауэ, чем ленинская, поскольку Ленин имел дело с идеями, а Сталин с реальными людьми. Реальной предысторией пятилеток и коллективизации были не 1920-е гг., а российская история со времен татарского нашествия<sup>44</sup>.

Статья Т. фон Лауэ, опубликованная в 1981 г. в журнале «Советский Союз», вызвала возражения со стороны многих известных англо-американских исследователей. А. Мейер категорически не соглашался с тем, что достигнутая советская мощь может оправдывать сталинскую тиранию. Он не считал революционный, а тем более сталинский вариант развития единственно возможным и признавал наличие небольшевистских путей выхода из российской отсталости<sup>45</sup>. С его точки зрения, исследователь должен в первую очередь симпатизировать жертвам,

а не творцам истории. Ф. Баргхорн также отмечал, что сталинизм, отрицавший свободу, был скорее продуманной формой укрепления и сохранения власти правящего слоя, чем неизбежностью российского исторического развития. Он не разделял отношения Т. фон Лауэ к Сталину и другим большевикам как к «патриотам России». Ф. Баргхорн писал, что это был странный патриотизм, если он требовал смерти миллионов советских граждан<sup>46</sup>. Но для Т. фон Лауэ, как он отметил в заключительной статье дискуссии, все эти аргументы звучали лишь как продолжение традиции вестернизации и американизации российских реалий.

Мы считаем, что эта публикация отражала некоторые серьезные явления, характерные как для американского общества в целом, так и для западной исторической науки. Совершенно правомерное стремление отойти от одностороннего взгляда на исторические процессы требовало изменения «точки отсчета» для многих явлений прошлого. Традиционное превалирование позиции «белого мужчины англосакса» вызывало неприятие и в обществе, и в академической среде. Историки признавали возможность и необходимость написания альтернативных, нетрадиционных исследований, анализирующих исторический процесс через отношение различных социальных, национальных, гендерных слоев и групп. Но, как и всякое явление, этот интересный и серьезный процесс не должен был переходить определенные границы и превращаться в отрицание ранее достигнутого ради процесса самого отрицания. Однако «политкорректность» в историографии зачастую повторяла крайности, присущие ей и в других сферах общественной и интеллектуальной жизни.

Т. фон Лауэ оправдывал сталинизм не из симпатии к нему, а скорее из желания «поставить на место» англо-американское научное сообщество, подчеркивая в одной из последующих статей, что, как эмигрант, он видит серьезную опасность в американском отношении к сталинизму и Советскому Союзу<sup>47</sup>. Нужно отметить, что Г. Киссинджер был безусловно прав, когда говорил о «неистощимом мазохизме американских интеллектуалов»<sup>48</sup>. Так, Т. фон Лауэ в заключении дискуссии 1981 г. даже заявил о связи между научной оценкой сталинизма и гонкой ядерных вооружений. В. Лакер вернулся к оценке позиции Т. фон Лауэ в 1991 г. в книге «Сталин: открытия гласности». Он писал, что отношение к осуждению Сталина как к «моральному империализму» (формулировка Т. фон Лауэ) можно встретить только среди неосталинистов<sup>49</sup>.

В своей интерпретации сталинизма англо-американские ревизионисты использовали также многие положения известных антисталинистов, стоящих на марксистских позициях, прежде всего Л. Троцкого и М. Джиласа. Наибольшее внимание в англо-американской советологии привлек вывод Троцкого о формировании в сталинском Советском Союзе «нового класса», под которым подразумевалась бюрократия. Практически все авторы признавали наличие в советском обществе привилегированного правящего слоя, возникшего в годы сталинского правления, но выражали сомнение в правильности употребления термина «класс» по отношению к этой группе. Т. Ригби и С. Коэн, например, предпочитали термин «сословие», А. Эрлих — «страта»<sup>50</sup>. Такая позиция принципиально отличалась от взгляда Э. Карра, считавшего, что правящей группой в советском обществе был не класс, а партия<sup>51</sup>. А с точки зрения А. Ноува, Сталин не только не выражал интересы бюрократической элиты, но боялся ее консолидации и поэтому проводил безжалостные чистки<sup>52</sup>.

Таким образом, в центре внимания историков оказывался более широкий круг вопросов, чем тот, который интересовал сторонников тоталитарной теории. Например, западные исследователи стали уделять серьезное внимание вопросам модернизации Советского Союза. В предшествующие годы теория модернизации зачастую отвергалась теоретиками тоталитаризма, во-первых, как потенциально конкурирующая парадигма и, во-вторых, из-за ее вывода о том, что Советский Союз не во всех случаях следует рассматривать как уникальное явление.

Влияние этой концепции заметно в работах Б. Мура, А. Инкелеса, Э. Бжезинского и С. Хантингтона<sup>53</sup>. Авторы, прежде всего, подчеркивали общее влияние индустриализации и модернизации на общество и ее воздействие на социальную и политическую мобильность. Сторонники теории модернизации считали, что историко-культурные и идеологические факторы постепенно теряют свое значение по мере индустриально-технического развития. С их точки зрения, собственная политика режима, направленная на урбанизацию и индустриализацию, заставляет советских лидеров отходить от «социальной утопии» и принимать во внимание реальные интересы и требования общества<sup>54</sup>. Таким образом, концепция модернизации вступала в противоречие с попытками объяснить динамику советского общества лишь идеологическими мотивами, которые были чрезвычайно важны для тоталитарной теории.

Динамизм развития в значительной степени был связан, по мнению исследователей, с насильственными сторонами советской системы. А. Даллин и Дж. Бреслауэр отмечали, что коммунистические режимы характеризуются обширными программами преобразований, когда глубокие изменения совершаются в короткий период времени. При этом революционный строй стремился использовать насилие для консолидации власти, уничтожая реальных и потенциальных врагов. Даже если режим приходил к власти, опираясь на поддержку населения, он мог не иметь серьезной альтернативы использованию террора, поскольку не владел средствами адекватного материального стимулирования масс. Более того, материальные стимулы могли быть идеологически неприемлемы для коммунистической элиты, особенно на ранней стадии становления режима. Режим также не мог быстро создать необходимое законодательное обожествление власти<sup>55</sup>.

На более поздней стадии систематический террор стал доминирующей чертой советской системы — страх превратился в организующий принцип «мобилизационного развития». Термин «мобилизационная система» использовался рядом авторов, например Г. Спиро, вместо «тоталитарной системы» для характеристики стремления государства установить контроль над всеми человеческими и экономическими ресурсами общества и направить их на достижение единственной доминирующей цели<sup>56</sup>. Элита, проводящая эти изменения, ожидала растущего сопротивления и отчуждения части общества и идентифицировала определенные слои как требующие упреждающего давления, угроз или устранения.

Но этот процесс имел тенденцию к собственной динамике и стал поглощать целые социальные группы, уничтожать любую автономию в обществе, распространившись и на сторонников режима. Когда террор перестал выполнять функции контроля и стимулятора изменений и превратился в непродуктивный инструмент политики, это означало, что система вышла за пределы мобилизационной стадии.

Для режима, достигшего успехов в индустриализации и собственной легитимизации, стали характерными три тенденции: 1) большая опора на материальные стимулы; 2) снижение роли террора, рассматривавшегося элитой как нефункциональный метод, и 3) растущая бюрократизация и опора на административно-бюрократические процедуры. А. Даллин и Дж. Бреслауэр называли подобный переход «революцией растущих ожиданий»<sup>57</sup>.

Выводы теории модернизации, социологической по своей сущности, широко использовались в историко-экономических и исторических работах. Однако следует отметить, что само понятие «модернизация» имело достаточно разные толкования. Е. Петров справедливо отмечал, что в значительной по объему специальной и еще более обширной неспециальной литературе мы не найдем двух одинаковых его расшифровок<sup>58</sup>. Для некоторых авторов (У. Ростоу) «модернизация» связывается преимущественно с экономическим развитием, для других (М. Леви, С. Эйзенштадт и др.) — с социально-политическим, у третьих (Т. Парсонс, Н. Сменсер, Р. Бендикс, Д. Эптер, С. Блэк) она вмещает совокупность экономических, социальных и политических изменений в обществе. У одних авторов (Р. Уорд, Р. Макридис, Дж. Неттл, Р. Робенсон) «модернизация» — специфическое явление, вызванное необходимостью подтягивания не западных стран до западного уровня, у других (М. Леви, С. Эйзенштадт) — это общесторическое явление, определенная стадия или даже целая эпоха в развитии всех стран, включая западноевропейские.

Возникновение теории модернизации лишь частично было связано с советской историей. Прежде всего, она явилась отражением процессов, происходивших в государствах третьего мира. Антиколониальное движение привело к возникновению целого ряда новых государств, которые столкнулись с проблемами экономической отсталости, крайне низкого жизненного уровня населения, слабостью политических институтов. Развитие чрезвычайно отсталых регионов стало одной из наиболее драматических проблем мирового сообщества и привлекло внимание исследователей.

Тема отставания в развитии, точнее стартового (первоначального) отставания, и его преодоления впервые в советологии была проанализирована в сборнике «Трансформация русского общества: Аспекты социальных изменений с 1861 г.», составленном на основании материалов конференции, прошедшей в Нью-Йорке в апреле 1958 г.<sup>59</sup> Участники форума, среди которых были экономисты, социологи, экономические историки, предложили новый взгляд на проблему советского развития, которое рассматривалось в контексте общемировых тенденций, а не в противопоставлении им, как это было характерно для тоталитарной школы. Основное внимание было уделено модернизации страны, понимаемой как процесс перехода от аграрного к индустриальному обществу, базирующийся на значительном углублении человеческих знаний. Впервые, сравнивая Советский Союз с некоммунистическими странами, исследователи подчеркивали не только различия, но и общие черты. Например, рассмотрение истории индустриализации в России не ограничивалось сталинским периодом. Она анализировалась как процесс, начатый в конце XIX в. и продолженный большевиками.

С точки зрения А. Гершенкрона, сталинская политика должна была рассматриваться, прежде всего, как реакция на экономическую отсталость страны и продолжение курса на «вестернизацию», начатого реформами С. Витте. Подоб-

ный взгляд был поддержан также Т. фон Лауэ, К. Блэком, У. Ростой<sup>60</sup>. Хотя предложенные аргументы были достаточно схематичны, заявленная позиция представляла интерес в качестве нового аспекта советологии. Сталинская политика рассматривалась в большей степени как ответ на реальные нужды страны, чем продолжение идеологической концепции, предложенной Лениным. Например, А. Органски писал, что он предпочитает использовать термин «сталинизм», а не «коммунизм» при описании периода индустриализации<sup>61</sup>. При этом сталинские методы не оправдывались, более того, подчеркивались архаизм и жестокость многих мероприятий, превалирование насильственных методов решения сложных проблем. Действия советского руководства, с точки зрения многих авторов, далеко не всегда были адекватны сложившейся ситуации.

В середине 1960-х гг. внимание специалистов привлекли статьи, а затем и монография А. Ноува, рассматривавшего вопрос о «необходимости» Сталина для советского развития. То, что может быть названо сталинизмом, писал он в работе «Экономическая рациональность и советская политика: Был ли Сталин реально необходим?», являлось продуктом индустриализации, а точнее, решения об ускоренном развитии тяжелой промышленности. Поскольку это решение было непопулярным, для его реализации необходимо было применять социальное принуждение. Отсюда возникала и неизбежность полумилитаризированной партии и диктатора<sup>62</sup>. В своих более поздних работах А. Ноув вновь отстаивал данную точку зрения. Например, в опубликованной в середине 1970-х гг. монографии «Сталинизм и после» он писал, что относиться к Сталину просто как к человеку, одержимому жаждой власти, было бы неполной правдой. Реальной причиной формирования сталинского режима была проблема индустриализации, уходящая своими корнями во время царей, войн и революций<sup>63</sup>. А. Ноув открыто не оправдывал Сталина, но был достаточно близок к этому.

Другой точки зрения придерживался американский историк и экономист А. Эрлих. Он впервые в англо-американской историографии проанализировал внутрипартийную борьбу 1920-х гг. не только как борьбу за власть между «наследниками Ленина», но и как «дебаты об индустриализации». А. Эрлих пришел к выводу, что сталинский выбор стратегии развития страны в 1928–1929 гг. был обусловлен как политическими, так и экономическими причинами, которые следует рассматривать только в комплексе. Альтернативы, отвергнутые Сталиным, по мнению А. Эрлиха, могли принести Советскому Союзу лучшие результаты и потребовали бы меньших человеческих и материальных затрат<sup>64</sup>. Этот вывод во многом предопределил направление дальнейших дискуссий о советской индустриализации и сталинской стратегии модернизации в западной историографии.

Но теория модернизации поддерживалась далеко не всеми советологами. Так, австралийский исследователь Г. Гилл выразил несогласие с вариантом объяснения истоков сталинизма, основанном на тезисе об отсталости России, стремлении большевиков как можно быстрее индустриализовать страну и неизбежности генезиса диктаторского режима. Он соглашался с тем, что цели большевиков в сочетании с социально-экономическими условиями, в которых оказался новый режим, делали насильственную диктатуру возможной. Однако это не означало, что сталинизм был неизбежен. Политические деятели имели возможность выбора, они не были жестко связаны системой ценностей или институтов, которые обязывали идти только по сталинскому пути<sup>65</sup>. Традиционная русская культу-

ра могла способствовать выбору этого варианта, как подчеркивали, например, М. Левин и Р. Такер<sup>66</sup>, но не делала его единственно возможным. Марксизм в ленинской интерпретации, конечно, имел внутреннюю связь и много общего со сталинизмом, но также давал возможность разных вариантов развития и не вел автоматически к сталинизму.

Российская отсталость и большевистская идеология были факторами, способствовавшими возникновению сталинизма, но не являлись решающими. Наибольшее значение для генезиса сталинизма, по мнению Г. Гилла, имело принятие решений о «революции сверху» и терроре. Это не означало, что советские лидеры, принимавшие данные решения, таким образом сознательно устанавливали сталинскую систему, это не было их целью. Также нельзя считать, что какое-либо одно решение привело к курсу на «революцию сверху» и террору. В обоих случаях события были результатом ряда решений, приоритетность которых все еще вызывает споры в академическом сообществе. Но самым важным является то, что эти решения и события не были продолжением ранней стадии советского развития, они означали резкий разрыв с ней, осуществленный по воле советского политического руководства. Таким образом, сталинизм нельзя рассматривать как неизбежный результат революции 1917 г. и ленинской (большевистской) идеологии. И революция, и большевизм несли в себе черты, как проявившиеся потом в сталинизме, так и отвергнутые им. Именно политические решения оказались первостепенно важными для генезиса сталинской системы. Принятие этих решений было связано как с персональным сталинским влиянием, так и с наличием определенных социальных сил, заинтересованных в них<sup>67</sup>.

Признавая, что как феномен сталинизм не поддается легкой категоризации, Г. Гилл, используя аналогию с выделением черт «тоталитарного синдрома» К. Фридрихом и З. Бжезинским, предпринял попытку выделить характерные черты «сталинского синдрома». К числу важнейших признаков сталинизма он отнес: 1) формально высокоцентрализованную, направляемую экономическую систему, характеризующуюся массовой мобилизацией и приоритетным развитием тяжелой индустрии; 2) социальную структуру, первоначально характеризующуюся высоким уровнем социальной мобильности, приводящей бывшие низшие классы на властные и привилегированные позиции, а затем закрепляющую результаты структурализации в рангах, статусах и иерархии; 3) политическую мотивированность сфер культуры и интеллектуального труда, определяемую целями и интересами высшего руководства; 4) личную диктатуру, базирующуюся на терроре, при которой политические институты являются не более, чем инструментами диктатора; 5) политизированность всех сфер жизни, которые таким образом становятся областью государственных интересов; 6) слабо структурированную систему местной власти, возникшую в результате сочетания концентрации власти в центре и его неспособности осуществлять контроль; 7) вытеснение первоначальных революционных тенденций консервативной ориентацией, направленной на сохранение существующего положения<sup>68</sup>.

Ревизионистский подход предполагал использование методов и концепций, заимствованных из других дисциплин, и был основан на номотетической методологии, предполагавшей наличие внутренних закономерностей развития, применении дедуктивно-гипотетического метода для анализа скрытых процессов, происходивших в СССР. Таким образом был сделан важный шаг, приближающий

советологии к современному пониманию истории как научной дисциплины, использующей не только специфические, но и общенаучные методы исследования.

С течением времени Советский Союз становился для англо-американских советологов понятным в традиционных для западной историографии категориях. Национализм, геополитическое положение, попытки преодолеть отсталость, авторитарная политическая культура — комбинация этих взглядов стала более важной для аналитиков, чем тоталитарная модель. Многие в этих объяснениях не исключало того, что в определенном смысле СССР являлся тоталитарным государством. Однако его тоталитарные характеристики стали оцениваться как динамичные и исторически специфичные.

Характеризуя сталинизм как систему, «ревизионисты» учитывали последовательность формирования и меняющееся содержание входящих в него частей. Завершенный вариант сталинизма, включавший экономическую, социальную, культурную и политическую составляющие, по мнению большинства исследователей, был создан к концу 1930-х гг.

Сталинская экономическая система была сформирована в начале 1930-х гг., и до 1953 г. структурные изменения в ней были минимальными. Экономическая структура, работающая на основе директивных принципов, стала инструментом для достижения политических целей. Это нашло свое отражение в приоритете, отдаваемом развитию тяжелой индустрии и военно-промышленного комплекса в целом. На нужды и требования потребителей обращалось мало внимания, постоянно ощущался дефицит потребительских товаров. Развитие экономики было скорее экстенсивным, чем интенсивным, и требовало возрастающего притока трудовых ресурсов и массовых мобилизаций.

Главной чертой социальной составляющей сталинизма в 1930-е гг. был очень высокий уровень социальной мобильности, вызванной «революцией сверху» и террором. Во всех сферах общественной жизни члены традиционно низших классов выдвинулись на властные позиции. Это стало кульминацией революции 1917 г., сломавшей классовую структуру, основанную на наследовании. Новая социальная структура не была эгалитарной, значительная часть нового правящего слоя получила привилегии, но и для широких масс, вовлеченных в общественные изменения, революция означала шаг к реализации мечты о более комфортной жизни.

Культурная составляющая сталинизма в 1930-е гг. претерпела значительные изменения по сравнению с ранними стадиями советской истории. Первоначально культурная революция поддерживала эгалитаризм и доминирование пролетарских ценностей, но затем произошел переход к более консервативной ориентации в сфере культуры. Центр внимания переместился от «маленького человека» к лидерам во всех сферах жизни. Место эгалитаризма в качестве позитивных ценностей заняли ранги, статус, иерархия. Возможно, наиболее серьезным проявлением консервативного направления стала легитимизация русского национализма, пришедшая на смену интернационализму первых послереволюционных лет. Возрождение национальных ценностей сопровождалось как прославлением русского прошлого, так и отходом от идеи «мировой революции» и обоснованием необходимости укрепления СССР.

Политическая система сталинизма в полном варианте оформилась к концу 1930-х гг. после периода террора. Одной из ее важнейших черт стала персональ-

ная диктатура Сталина, который мог решать все, что он хотел, невзирая на взгляды других лидеров. Это не означало, что Сталин решал все, но право решать то, что он считал нужным, всегда сохранялось за ним. Сталин стал важнейшей силой внутри системы, направление политики, ее приоритеты и методы действия были построены в соответствии с его волей. Средством, с помощью которого создавались такие условия, был террор или угроза его применения. Террор стал инструментом управления. В таких обстоятельствах личные черты лидера были чрезвычайно важны для системы в целом. Деспотизм действий Сталина, не желавшего признавать ничего, что казалось опасным для его власти, основывался на сочетании уверенности и подозрительности, ставшем доминирующим элементом его стиля руководства.

Результатом установления личной диктатуры, базирующейся на терроре, стала крайняя слабость всех политических институтов. Они были неспособны действовать независимо на советской политической сцене, не могли структурировать собственные внутренние операции и всегда были объектом для вмешательства и контроля со стороны лидера. Так же как высшие политические органы не могли контролировать Сталина на вершине власти, местные политические органы были неспособны контролировать местных политических лидеров.

Наряду с культом высшего руководителя в стране существовала система «культиков» местного руководства. Ряд авторов, ставших в 1980-е гг. лидерами «ревизионизма второй волны», считали, что это позволяет сделать вывод о слабости и эпизодичности контроля со стороны центральных органов и, следовательно, ошибочности признанной англо-американской советологией высокоцентрализованной модели сталинской политической системы. С нашей точки зрения, такой вывод может быть в данном случае оспорен, поскольку слабость местных органов власти могла вполне устраивать центр, которому значительно проще было влиять на местных политических лидеров, чем на политические органы. Система страха в сочетании с привилегиями делала лидеров легко управляемыми, а слабость местных политических институтов, их подконтрольность местным «вождям» позволяла легко проводить через них любые решения.

Спектр концепций, пришедших на смену тоталитарной модели, был достаточно широк. Это и структурализм, и бихевиоризм, и ряд холистских моделей, объяснявших политические процессы через действия социальных сил и политических институтов, конфликты и борьбу между ними. Ревизионистская историография не была монолитной, острые споры об уникальности советской системы, возможности ее сравнения с «обычными» западными политическими структурами шли в течение десятилетий и продолжаются до сего дня.

Новой моделью анализа советской политической системы стала «конфликтная модель»<sup>69</sup>. Она не была статичной, т. е. не предполагала, что система будет неизменной в течение длительного времени, и подчеркивала, что власть внутри советского руководства была постоянным объектом борьбы. В рамках подобного подхода была переработана и переиздана книга М. Фейнсода «Как Россия управляется» — одна из самых известных работ о сталинском Советском Союзе, доминировавшая в советологии более десятилетия. Это авторитетное исследование, основанное на исторической базе, ориентировалось на тоталитарную модель, хотя и не принижало проявление разногласий и различий в Советском Союзе. Дж. Хаф добавил в переработанный вариант текста М. Фейнсода такие

темы, как фракционные конфликты, политические дебаты, плюралистические тенденции в советском обществе. Он объяснял эти изменения тем, что «в трудах, исследующих западную политическую систему, внимание концентрируется на политическом процессе, и серьезное исследование Советского Союза требует постановки таких же вопросов»<sup>70</sup>.

Сторонники «конфликтной модели» поддерживали вывод о системе, в которой решения принимались «сверху вниз», но в которой конфликты между соподчиненными структурами были терпимы или даже поощрялись. Г. Скиллинг, один из самых последовательных сторонников такого подхода, писал: «Идея, что “группы интересов” могут играть серьезную роль в коммунистической системе, до недавнего времени не находила поддержки среди ученых, изучавших Советский Союз. Уникальность тоталитарной системы по определению исключала любую сферу автономного поведения какой-либо группы, кроме государства или партии»<sup>71</sup>.

Первой серьезной попыткой обоснования внешних проявлений советской политической системы с помощью анализа ее внутренней структуры была работа Ф. Баргхорна «Политика в СССР»<sup>72</sup>. Хотя главное внимание концентрировалось на вершине властной пирамиды, а не на политической системе в целом, подобный анализ конфликтующих групп был ранее невозможен ни в ортодоксальных исследованиях советских ученых, ни в ортодоксальных работах западных сторонников тоталитарной школы.

Впечатляющим образцом исследования взаимовлияния идеологических и исторических составляющих в формировании советской политической, экономической и общественной системы была работа Б. Мура «Советская политика». В ней, а затем и в книге «Террор или прогресс» аргументировался вывод о том, что под влиянием исторической реальности в СССР сформировалась общественная система, во многом отличавшаяся от прогнозов коммунистической теории и идеологии. На историческом фундаменте базировались и опубликованные в 1950-х – начале 1960-х гг. труды А. Улама, Дж. Хазарда, Дж. Армстронга<sup>73</sup>.

Хотя социологические и антропологические теории имели определенное влияние на работы Б. Мура, до публикации «Политической системы» Д. Исто-на, «Процесса принятия решений» Х. Лассвела и «Сравнимых политических систем» Г. Алмонда системно-функциональные концепции мало использовались при изучении коммунистических систем<sup>74</sup>. Д. Лейн считал, что в начале 1970-х гг. изучение роли классов, национальностей, «групп влияния» в политическом процессе занимало маргинальное положение в советских исследованиях. Он связывал это с негативным влиянием «кремленологии», рассматривавшей лишь результаты деятельности политических лидеров и институтов<sup>75</sup>. В работе «Политика и общество в СССР» Д. Лейн обосновывал системно-функциональный подход к изучению советских политических институтов стремлением интегрировать результаты западных исследований, использовавших социологические методы<sup>76</sup>.

Работы, в которых использовался структурно-функциональный подход, позволили рассмотреть взаимосвязь между политическими институтами и процессом принятия решений как более сложное и многогранное явление, чем оно представлялось в ранних советологических исследованиях. Общество стало рассматриваться не только как «управляемое», но и оказывающее влияние на государственные и партийные институты. Политический процесс анализировался

более детально, через отдельные фазы, такие как постановка задач, принятие решений, их выполнение и оценка результатов.

Также усилилось внимание исследователей к оценке роли и места технократической бюрократии в советском обществе. Так, А. Мейер описывал СССР как «огромную бюрократическую машину, сравнимую по структуре и функциям с гигантскими корпорациями, армиями и подобными организациями»<sup>77</sup>. Система объединялась общими целями, направлялась и контролировалась из единого центра. Такая точка зрения была близка к позициям тех авторов, которые рассматривали Советский Союз как «управляемое общество», «командную систему». Например, А. Кассоф отмечал наличие сильной правящей группы, обладающей монополией на знания, необходимые для планирования и координации деятельности системы<sup>78</sup>. Т. Ригби подчеркивал наличие одной группы (партия и ее лидер), которая осуществляла контролирующие функции, в то время как остальная система покорно и точно выполняла намеченные планы<sup>79</sup>. Дж. Армстронг также писал об иерархическом управлении, но считал, что структура не полностью однообразна и жестка, поскольку сказываются как факторы личных отношений, так и недостаточно эффективные коммуникационные связи<sup>80</sup>.

Следует отметить, что среди исследователей не было единого взгляда на то, какие слои партийной, государственной, военной, промышленной, научной бюрократии могут быть отнесены к правящей страте. Более того, часть исследователей считала, что было бы ошибкой говорить о единстве интересов советской элиты. Так, с точки зрения Ф. Бархорна, «факты свидетельствовали, что разногласия, конфликты и внутренняя политическая борьба могут играть в однопартийных системах большую (хотя и скрытую) роль, чем в демократических странах»<sup>81</sup>.

Подобные взгляды в сочетании с отрицательным отношением к тоталитарной парадигме вели к стремлению исследователей использовать плюралистические теории, прежде всего такие, как модели «групп интересов» и корпоратизма. Модель «групп интересов» первоначально использовалась при изучении американской политической системы, а в 1950–1960-е гг. стала применяться и для исследования европейского и латиноамериканского регионов. Возможность ее использования по отношению к коммунистическим системам первым обосновал Г. Скиллинг в статье «Группы интересов и коммунистическая политика», опубликованной в 1966 г. в журнале «Мировая политика»<sup>82</sup>. В 1971 г. под редакцией Г. Скиллинга и Ф. Гриффитса вышел сборник «Группы интересов в советской политике», некоторые авторы которого утверждали, что подобные группы не только существуют в коммунистических странах, но и оказывают реальное влияние на принятие решений и формирование политики советских лидеров<sup>83</sup>.

Новая модель вызвала неоднозначную реакцию в среде специалистов. Даже один из соредкторов (Ф. Гриффитс) предпочитал говорить о существовании в Советском Союзе «скорее тенденций, чем групп». В ответ на прозвучавшую критику Г. Скиллинга подчеркивал, что он не претендует на то, чтобы рассматривать применяемый подход как единственную модель объяснения советской системы. Он соглашался, что «группы интересов» не являются важнейшей чертой политической системы СССР, но их изучение позволяло лучше понять отдельные аспекты советской реальности<sup>84</sup>. С этим утверждением, с нашей точки зрения, можно согласиться. Однако следует иметь в виду, что «группы интересов» в Советском Союзе не были открытыми и автономными. Следовательно, их наличие

не означало, что советскую систему можно было характеризовать как плюралистическую.

Корпоратистскую модель при изучении Советского Союза использовали на рубеже 1970–1980-х гг. В. Бунсе и Дж. Эчолс, считая, что понятие «государственный корпоратизм» наиболее точно отражает сущность политической системы СССР<sup>85</sup>. Однако общее количество «корпоратистских» работ было невелико, и можно считать, что модель не оказала значительного влияния на англо-американскую советологию.

Шагом вперед в понимании политики внутри политбюро как производной части всей политической системы стали структуралистские концепции. Они базировались на анализе взаимодействия политических и экономических институтов, учреждений и обезличенных экономических и географических понятий, не связанных с «намерениями» личностей, групп или партий<sup>86</sup>. Странники этого направления создавали более сложную картину советской политической системы, чем тоталитарная и конфликтная модели. Структуралистский подход признавал наличие множественных интересов в партийном и советском аппарате, трактовал принятие политических решений как результат согласования различных интересов, подчеркивал разницу в процессах принятия решений и их выполнения и оценивал отношения между партийно-государственным аппаратом и обществом как интерактивные.

В 1970-е гг. более заметное влияние начало приобретать объяснение функционирования политической системы СССР с помощью модели «патрон – клиент». Это было связано с очевидной важностью фракционности, покровительства, коррупции в коммунистической системе. Ни плюралистические, ни тоталитарная модель не смогли дать адекватного объяснения этим явлениям и первоначально «клиентелизм» нашел отражение в кремленологических исследованиях, например в работе Р. Конквеста «Власть и политика в СССР», в которой он исследовал «советские династии»<sup>87</sup>.

Схема «патрон – клиент» возникла как элемент антропологических и социологических исследований. Через взаимоотношения двух личностей и совокупность таких взаимоотношений в ней анализировалась деятельность партий, групп интересов, бюрократических структур. Как считал Дж. Хоскинг, Россия по разным причинам не имела возможности создать государство на основе институтов и законов и вместо этого она создала свою государственность на основе личных отношений, т. е. патроно-клиентских<sup>88</sup>. Важнейшими ценностями в системе отношений «клиентелизма» являлись власть и покровительство. Дж. Виллертон отмечал наличие связей «патрон – клиент» на уровне членов Политбюро и Центрального Комитета КПСС. Подтверждением наличия таких взаимоотношений служило изменение служебного положения членов ЦК в результате взлетов или падений их «патронов» в политбюро<sup>89</sup>.

Т. Ригби считал, что хотя «клиентелизм и покровительство» являются широко распространенными явлениями в любых общественных системах, наибольшее значение отношения «патрон – клиент» имели в феодальных или квазифеодальных обществах, где они, возможно, играли центральную роль. Советская бюрократическая система имела свои особенности, связанные с сочетанием традиционных черт клиентелизма с большевистской идеологией и особенностями политической системы.

На состояние советологических исследований на рубеже 1960–1970-х гг. большое влияние оказала «бихевиористическая революция» в социальных науках, вызвавшая особое внимание к поведению масс и элиты<sup>90</sup>. Предметом углубленного исследования советологов стали отдельные аспекты функционирования советской системы. Акцент делался на природе политического лидерства, принятии решений и дебатах внутри партийного и советского руководства, смене политических лидеров<sup>91</sup>. Наиболее заметной работой 1960-х гг. была книга Дж. Хафа «Советские префекты», анализирующая деятельность первых секретарей обкомов КПСС<sup>92</sup>. В. Бунсе отмечала, что эта работа выделялась потому, что, сочетая эмпирический и теоретический подход, она показывала реальный смысл функционирования и логику построения партийного и советского аппарата<sup>93</sup>.

Диктаторский и закрытый характер советской системы вместе с долговременным влиянием тоталитарной модели на англо-американскую советологию привели к активному развитию кремленологии, сосредоточившей внимание на изучении высших эшелонов власти. Сочетая старые традиции политической истории XIX в. с немарксистскими тенденциями социологии XX в., советологи отображали историю СССР во «властных» политических терминах. Так, А. Улам отмечал, что для советологии и кремленологии «наиболее практичный и серьезный подход к изучению Советского Союза — это анализ его политической системы, что, в свою очередь, требует обращать первостепенное внимание на политическое руководство»<sup>94</sup>.

Частью исследователей кремленология воспринималась как карикатура на политический анализ, использующая только политические и личностные характеристики. М. Луис писал, что какие бы сферы жизни советского общества ни рассматривали эти специалисты, в конечном итоге они неизменно сводили изучение всех институтов, реформ, новых элементов развития к «властным потребностям» правящей группы<sup>95</sup>.

Однако при всех своих недостатках кремленологи расширили знания о советской политической системе. Например, Р. Конквест писал, что среди серьезных исследователей кремленологи пользовались дурной репутацией. Они воспринимались как гадалки, изучающие призрачные фигуры с помощью хрустального шара. Кремленология была «черным искусством». Однако в тех реальных условиях, в которых приходилось действовать исследователям, изучавшим Советский Союз, именно гипотезы были естественным научным методом<sup>96</sup>.

С. Коэн, описывая историю ревизионистского направления советологии, также отмечает положительное влияние кремленологии. Первая ревизионистская волна в советологии относится ко второй половине 1960-х гг., а в 1970-е гг. историками-ревизионистами были опубликованы серьезные монографические исследования. Советологи-ревизионисты подвергли критике три важнейшие составляющие тоталитарной парадигмы: утверждения о статичности и монолитности советской политической системы и ее абсолютном отличии от западных систем власти. По мнению С. Коэна, появление нового направления было вызвано влиянием общественных наук, создавших ситуацию «методологической революции» в советских исследованиях. Сказалось и воздействие кремленологии, которая, несмотря на присущие ей недостатки и не слишком солидную научную репутацию, смогла представить достаточно глубокий анализ борьбы среди советского руководства. И хотя кремленология рассматривала ситуации только в

высших эшелонах власти, она способствовала разрушению мифа о монолитном режиме, который предлагала тоталитарная школа<sup>97</sup>.

Первым направлением анализа стали биографии советских руководителей, дававшие возможность проследить изменения в персональных данных советских руководителей и связать их с такими факторами, как интересы, позиции, ценности элиты. Кремленологи также изучали институционную структуру политической власти в СССР, рассматривая вопросы взаимоотношений местных и центральных органов, структуру политбюро и ЦК партии, отношения между партийным и государственным аппаратом, реальное положение органов народного представительства. Объектом постоянного внимания кремленологической литературы были первые (генеральные) секретари ЦК КПСС, вопросы о масштабах власти партийного лидера и ее ограничениях.

Первоначально для англо-американских исследователей ответ на этот вопрос представлялся относительно легким, поскольку тоталитарная модель предполагала по определению, что партийные лидеры были всемогущи и не имели каких-либо внутренних ограничителей власти. Но постепенно распределение политической власти стало анализироваться как более сложное, а советская политическая система — более похожая на другие политические системы. В 1970-х гг. большинство западных исследователей считало власть советских политических лидеров сильной, но ограниченной. Вопрос об ограничениях рассматривался через анализ ситуации внутри правящей элиты, а также в масштабах всего советского общества и составляющих его различных групп интересов. Однако отсутствие точного законодательного определения власти в СССР, противоречия между Конституцией и повседневной жизнью, ограниченность информации неизбежно сохраняли неопределенность понимания многих аспектов советского политического лидерства.

В 1960-е гг. англо-американские ученые сделали первые шаги в направлении сравнительного изучения советской политической системы. Заметный след в истории советологии оставил сборник статей «Изучение коммунизма и общественные науки: эссе о методологии и эмпирической теории», изданный под редакцией Ф. Флерона в 1969 г.<sup>98</sup> Он подчеркивал разрыв между советологией и западным обществоведением и предлагал использование «сравнительного коммунизма» как формы применения методов обществоведения в советологии. После публикации Ф. Флерона тенденция сравнительного анализа коммунистических систем стала заметным явлением англо-американской историографии. Концепция подразумевала наличие различий в странах «восточного блока» и возможные различные пути их развития. Хотя сравнительный коммунизм не обязательно вел исследователей к сравнению советской политической системы с нетоталитарными режимами, он, безусловно, являлся заметным продвижением в применении концепций и теорий западного обществоведения в советологии.

Наряду с изучением политической системы особое внимание исследователей было привлечено к советской идеологии, пропаганде и, как производной от них, культуре. Среди первых исследователей, применивших концепцию «политической культуры» к изучению Советского Союза, был Ф. Баргхорн, для которого это направление стало базовым при подготовке книги «Политика в СССР»<sup>99</sup>.

Однако исследование советской политической культуры вызывало серьезные разногласия в англо-американской академической среде. Ф. Флерон писал, что «политическая культура» была флогистоном советологии, т. е. классическим примером

концепции, одновременно объясняющей все и ничего. Это означало не то, что политическая культура реально не существовала, а скорее то, что она использовалась как *a deus ex machina* для объяснения иначе необъяснимых феноменов российской и советской политики. Подобное использование концепции политической культуры было фактическим признанием неспособности объяснить определенные феномены исторических процессов<sup>100</sup>. А. Даллин добавлял, что в отношении Советского Союза политическая культура постоянно использовалась как остаточная категория, с помощью которой объясняли то, что по-другому объяснить не могли.

То же можно сказать и о часто используемых аналогиях из российской истории. А. Даллин справедливо отмечал, что «из книги в книгу, из статьи в статью кочевали “смертельные параллели” между Иваном Грозным и Сталиным, между безжалостной модернизацией Петра I и советским развитием, между отсутствием свободы в царской России и контролем во времена Берия. Даже рассматривая эти примеры как продолжение традиций российской политической культуры, надо признать, что такие сравнения больше дезинформировали, чем информировали, так как игнорировали различия в уровне развития и сопутствующих условиях... Постоянные напоминания о долговечности диктатуры вели к пренебрежению кропотливым микроанализом советской политики. В крайнем виде это приводило к заявлениям о том, что детальное изучение советских явлений и событий — это пустая трата времени, поскольку основные тенденции и так известны и неизменны»<sup>101</sup>.

Тезис о преемственности российской политической культуры со времен Московской Руси до советского периода отстаивал Э. Кинан в статье «Традиционные пути московской политики»<sup>102</sup>. Под «политической культурой» автор понимал «комплекс верований, практик и ожиданий, который — в умах русских — придавал порядок и значение политической жизни и... позволял его носителям создавать как основополагающие модели их политического поведения, так и формы и символы, в которых оно выражалось». В свете его теории генеральный секретарь и политбюро оказываются «законными наследниками» московских царей и их бояр<sup>103</sup>.

А. Керенский, в годы эмиграции занявшийся историческими исследованиями, отмечал по этому поводу, что «русское слово “грозный” отнюдь не означает “ужасный”... Ссылками на Ивана Грозного стремятся зачастую подкрепить расхожие на Западе утверждения о том, что Россия — отсталая страна, где полностью отсутствует свобода в ее западном понимании. Конечно, он совершил немало ужасных преступлений, но преступления такого рода совершались в те времена повсеместно по всей Европе: Филипп II в Испании, Генрих VIII и “Кровавая Мэри” в Англии, Людовик XI во Франции, Эрик в Швеции, герцог Альба — все они в равной степени виновны в совершении таких преступлений»<sup>104</sup>.

Однако далеко не все исследователи считали возможности «исторических параллелей» исчерпанными. Например, Р. Пайпс характеризовал российскую систему как «патримониальную», используя термин М. Вебера для обозначения общества, где земля и жившие на ней люди были собственностью суверена. Пайпс видел в патримониализме, более традиционно выражающемся понятием «восточный деспотизм», основу советской системы, в генезисе которой, по его мнению, марксизм играл второстепенную роль. М. Малиа писал, что Р. Пайпс «отмечает свой возврат в мир советологических дискуссий, воскрешая и совершенствуя тоталитарную модель, от которой он не отрекся в эпоху ревизионизма. Для него ключ к советизму скорее находится в русской национальной

традиции и в практически неизменной российской политической культуре, суть которой — деспотизм верхов и рабская покорность низов, традиции, по которой страна и ее жители являются собственностью правителя, а права власти смешиваются с правами собственности»<sup>105</sup>.

Р. Такер в начале 1990-х гг. вновь отмечал слабое внимание исследователей к оценке влияния российского прошлого, его политических и культурных традиций на советскую систему. Он подчеркивал важность понимания цикличности российской истории, чередования периодов усиления и ослабления государственной экспансии по отношению к обществу. Советологические работы, даже анализирующие политическую культуру, оценивали влияние дореволюционных традиций в лучшем случае в рамках концепции линейного развития или теории стадий<sup>106</sup>.

Ошибки в применении концепции не означали неверность самой концепции и не умаляли важности вопроса, вызывавшего серьезные споры среди советологов, — о степени взаимосвязанности между традиционной российской и советской политической культурой. Проблемы, связанные с изменениями в политической системе и политической культуре, не могут быть решены априори, а только с помощью эмпирических исследований. Объяснения, базирующиеся на национальной культуре, могут быть убедительны только в сочетании со структурными и институциональными объяснениями. Необходимо и сочетание со сравнительными исследованиями, которые могут обосновать возможность объяснения определенного явления в рамках национальной истории и культуры или в масштабах, выходящих за национальные границы. В западной советологии до второй половины 1980-х гг. в силу закрытости советского общества ощущалась нехватка систематических эмпирических данных. Лучшее, что удалось сделать в таких условиях, — массовые интервью советских эмигрантов. Первый раунд интервью был предпринят в США в рамках Гарвардского проекта (*Harvard Refugee Interview Project — HIP*) в 1950–1951 гг. Следующим шагом стал проект советских интервью (*Soviet Interview Project — SIP*), проведенных в 1983 г.<sup>107</sup>

Гарвардские исследователи А. Бауэр, А. Инкелес, К. Клухон, используя социологические методы, подготовили по итогам *Harvard Refugee Interview Project* книгу «Как работает советская система». Публикация была основана на докладе «Важнейшие психологические стороны советской общественной системы», подготовленном для ВВС США, заказавших и оплативших пятилетнее исследование данной проблемы. В определенном смысле книга отразила слабые стороны спонсированного исследования, поскольку авторы были вынуждены подготовить упрощенный «популярный» вариант издания для заказчика. Однако собранные в ходе реализации проекта материалы представляют значительный интерес. Было проведено комплексное интервьюирование 329 беженцев из СССР. Кроме этого дополнительно опрошено 435 человек. В общей сложности собрано 33 тыс. страниц данных, подготовлено 50 неопубликованных и 35 опубликованных исследований. Гарвардские ученые обратили внимание прежде всего на изучение сильных и слабых сторон общественной системы СССР, поведение отдельных групп населения в советском обществе. Экономические и политические аспекты интересовали исследователей в меньшей степени<sup>108</sup>.

Один из важнейших выводов Гарвардского проекта заключался в том, что «этническая самоидентификация играет в Советском Союзе значительно меньшую роль, чем классово-социальная, и в меньшей степени влияет на формирование цен-

ностей человека, его отношение к режиму»<sup>109</sup>. Авторы в соответствии с теорией модернизации считали, что индустриализация и урбанизация оказывают решающее влияние на советских людей. «Тоталитарные черты советской системы», писали они, «долго не давали нам возможность увидеть, что основные характеристики советского и современного индустриального общества чрезвычайно близки»<sup>110</sup>.

Основной проблемой стал вопрос о соответствии «отношения» советских граждан к той или иной ситуации и их «поведения» в этой ситуации. Часть исследователей, например Р. Верба, считали, что в понятие политической культуры следует включать только «отношение». Однако большинство специалистов, и среди них такие известные ученые, как Р. Такер и С. Уайт, включали в это понятие и «отношение» и «поведение». Нам представляется правомерной последняя точка зрения, так как в ситуации, когда люди практически полностью зависимы от власти и не имеют возможности свободно выражать свою позицию, их отношение и поведение, конечно, не равнозначны. Одна из задач советской политической системы заключалась именно в том, чтобы заставить людей действовать не в соответствии со своими взглядами и оценками, а в соответствии с желанием («отношением») власти.

Лишь в 1970–1980-е гг. «поведенческое» понимание политической культуры стало доминирующим в советологии. Г. Алмонд отмечал, что единственным объяснением того, почему в изучении коммунизма ученые выводят «отношение» из «поведения», является недостаток возможностей для прямого изучения «отношения». Главным вопросом, который должен исследоваться в политической культуре, он считал взаимодействие и взаимовлияние «отношения» и «поведения»<sup>111</sup>.

На англо-американскую советологию влияло и изменение международного климата, особенно состояние советско-американских отношений, во многом формировавшее подходы к интерпретации советской ситуации. Для 1950–1960-х гг., времени чрезвычайной враждебности двух сверхдержав, была характерна концентрация внимания на негуманных и нефункциональных сторонах советской системы. Период разрядки, сотрудничества Востока и Запада сделал советские исследования более открытыми для применения разнообразных интерпретаций и сравнения с другими странами. В советологии стал использоваться широкий спектр методологических подходов — от кремленологии до количественного анализа. Но новая ситуация породила и свои крайности. Многие концепции легко переносились из обществоведения в советологию, Советский Союз стал рассматриваться как слишком похожий на западные государства, а многие исследователи стремились больше говорить о позитивных и функциональных характеристиках советской системы.

Большинство англо-американских ученых в 1970-е гг. приветствовали применение западных концепций, считая, что приспособление моделей для изучения Советского Союза полезно и будет способствовать взаимному обогащению советологии и общественной науки в целом. Но слишком легкое использование западных концепций таило в себе опасность, которую Д. Сартори назвал «концептуальной эластичностью»<sup>112</sup>. Он не отрицал возможности сравнения политических систем, но подчеркивал необходимость учитывать различия в компонентах, зачастую носящих одинаковые названия. В первую очередь следует обратить внимание на опасность сглаживания черт различия советской и западной систем, поскольку применяемые концепции подчеркивают прежде всего их общность.

В конце 1970-х – начале 1980-х гг. наличие слабых сторон применяемых концепций вызвало не только резкие критические оценки в англо-американском академическом сообществе, но и обсуждение самой возможности применения моделей в советологии. Так, В. Бунсе и Д. Эчолс отрицали возможность применения сравнительных исследований, считая, что этот метод привнесет в советологию лишь новые ошибки, не исправив старых, порожденных региональным подходом к изучению СССР. Хотя они и признавали важность применения идей социальных наук из-за очевидных недостатков тоталитарной теории, но одновременно критиковали и отдельные моменты пришедшей ей на смену теории модернизации. Последняя заимствовала западные модели развития и плюрализма, но не уделяла должного внимания репрессивным тенденциям советского режима<sup>113</sup>.

Более обещающие подходы в применении теорий западных социальных наук в советологии появились в начале и середине 1980-х гг. Ученые стали применять более строгие в теоретическом отношении подходы к изучению отношений между государством и обществом, центром и периферией, этнической политики, институтов советской системы и роли элиты в политике. Это стало особенно важно во второй половине 1980-х гг., когда появилась возможность использования новых материалов и проведения эмпирических исследований.

Оценивая влияние теоретических концепций на советологию, Г. Алмонд и Л. Роселле отмечали, что усиление интереса ученых к теории привело к использованию в исследованиях СССР целого ряда моделей, первоначально примененных к изучению таких регионов, как Европа, США, Латинская Америка, Юго-Восточная Азия. Наряду с исторической методологией начали использоваться элементы концепций, заимствованных из политологии, социологии, социальной психологии, антропологии. Хотя ни одна из моделей не могла охватить все аспекты изучения советской реальности, каждая из них способствовала лучшему пониманию отдельных аспектов советской системы и, следовательно, давала возможность англо-американским советологам глубже понять систему в целом<sup>114</sup>.

Изучение советского общества в 1960–1980-е гг. становилось все более детальным и эмпирическим. Хотя задача описания системы в целом сохранялась, значительный интерес вызывал анализ ее отдельных составляющих. В то время как на ранней стадии изучения Советского Союза «советская политика» была практически равнозначна политике высшего руководства, в дальнейшем большее внимание уделялось политике низших уровней и комплексу взаимоотношений между гражданами и правительством. Исследователи также стали анализировать не только политический процесс, но и его результаты и последствия. Англо-американская советология обогатилась новыми темами исследований, применяемыми методами и сделанными выводами. Различия стали столь же значительными, как при изучении других регионов мира.

### **Примечания**

- 1 *Петров Е. В.* Американское россиеведение. Словарь-справочник // <http://petrov5.ripod.com/welcome.htm>.
- 2 *Тишков В. А.* История и историки в США. М., 1985. С. 44.
- 3 *Петров Е. В.* «Русская тема» на Западе. Словарь-справочник по американскому россиеведению. СПб., 1997. [Электронный ресурс:] [http://chss.irex.ru/db/zarub/view\\_bib.asp?id=682](http://chss.irex.ru/db/zarub/view_bib.asp?id=682).
- 4 *Stalinist Terror: New Perspectives.* Cambridge; New York, 1993. P. 1.

- 5 Stalinism and Nazism: Dictatorships in Comparison. Cambridge; New York, 1997. P. 1–2.
- 6 Там же.
- 7 Буллок А. Гитлер и Сталин: жизнь великих диктаторов: В 2 т. Смоленск, 2000. Т. 1. С. 14–15.
- 8 Cohen S. Rethinking the Soviet Experience: Politics and History since 1917. New York, 1985.
- 9 Fitzpatrick S. Constructing Stalinism: Reflection on Changing Western and Soviet Perspectives on the Stalin Era // The Stalin Phenomenon. London, 1993. P. 82.
- 10 Cohen S. Rethinking the Soviet Experience: Politics and History since 1917. New York, 1985. P. 86.
- 11 Рабинович А. Меня считали буржуазным фальсификатором // Беларускі гістарычны часопіс. 1998. № 4. С. 29.
- 12 Цит. по: Петров Е. В. Американское руссиеведение. Словарь-справочник // <http://petrov5.tripod.com/welcome.htm>.
- 13 Getty A. Origins of the Great Purges: The Soviet Communist Party Reconsidered, 1933–1938. New York, 1985. P. 198.
- 14 Hough J. The Cultural Revolution and Western Understanding of the Soviet System // Cultural Revolution in Russia, 1928–1931. Bloomington, 1978. P. 246–247.
- 15 Fitzpatrick S. Education and Social Mobility in the Soviet Union, 1921–1934. Cambridge; New York, 1979; Fitzpatrick S. Stalin and the Making of a New Elite, 1928–1937 // Slavic Review. 1979. Vol. 38. Is. 3. P. 377–402; Cultural Revolution in Russia, 1928–1931. Bloomington, 1978.
- 16 Fitzpatrick S. Education and Social Mobility... P. 4.
- 17 Cohen S. Bukharin and the Bolshevik Revolution: A Political Biography, 1888–1938. New York, 1973; Lewin M. Lenin's Last Struggle. New York, 1968; Lewin M. Political Undercurrents in Soviet Economic Development: Bukharin and the Modern Reformers. Princeton, 1974.
- 18 Continuity and Change in Russian and Soviet Thought. Cambridge, 1955. P. 145, 160, 175.
- 19 Daniels R. The Conscience of the Revolution: Communist Opposition in Soviet Russia. Cambridge, 1960. P. 403; Meyer A. Leninism. Cambridge, 1957. P. 282; Reshetar J. A Concise History of the Communist Party of the Soviet Union. New York, 1964. P. 217–219; Treadgold D. Twentieth Century Russia. Chicago, 1972. P. 276.
- 20 Arendt H. Comment on Ulam Adam «The Uses of Revolution» // Revolutionary Russia. Cambridge, 1968. P. 345.
- 21 Tucker R. Revolution from Above // Stalinism: Essays in Historical Interpretation. New York, 1977. P. 77.
- 22 Slusser R. A Soviet Historian Evaluates Stalin's Role in History // American Historical Review. 1972. December. P. 1393.
- 23 Hough J. The Cultural Revolution and Western Understanding of the Soviet System // Cultural Revolution in Russia, 1928–1931. Bloomington, 1978. P. 242, 302.
- 24 Fainsod M. How Russia is Ruled / Rev. ed. Cambridge, 1963. P. 59.
- 25 Ulam A. The New Face of Soviet Totalitarianism. Cambridge, 1963. P. 48.
- 26 Carr E. Studies in Revolution. New York, 1964. P. 214.
- 27 Deutscher I. Ironies of History. London, 1966. P. 216–218.
- 28 Cohen S. Bolshevism and Stalinism // Stalinism: Essays in Historical Interpretation. New York, 1977. P. 12–13.
- 29 Tucker R. The Soviet Political Mind: Stalinism and Post-Stalin Change / Rev. ed. New York, 1971. P. 55–56.
- 30 Tucker R. Stalin in Power: The Revolution from Above, 1928–1941. New York, 1990. P. 14.
- 31 Ibid. P. 23.
- 32 Malia M. The Soviet Tragedy: A History of Socialism in Russia, 1917–1991. New York, 1994. P. 143.
- 33 Conquest R. Stalin: Breaker of Nations. New York, 1991. P. 323.
- 34 Lewin M. The Social Background of Stalinism // Stalinism: Essays in Historical Interpretation. New York, 1977. P. 130–131.
- 35 Lewin M. Stalinism – Appraised and Reappraise // History. 1975. Vol. 60. P. 73.
- 36 Lewin M. The Making of the Soviet System: Essays in the Social History of Interwar Russia. New York, 1985. P. 9.
- 37 Thompson J. A Vision Unfulfilled: Russia and the Soviet Union in the Twentieth Century. Lexington, 1996. P. 319.
- 38 Цит. по: Nove A. Stalin and Stalinism – Some Afterthoughts // Stalin Phenomenon. London, 1993. P. 204.
- 39 Цит. по: Nove A. Was Stalin Really Necessary? // Stalin and Stalinism. New York, 1992. P. 309–312.
- 40 Pethybridge R. The Social Prelude to Stalinism. New York, 1974.

- 41 *Laue von T.* Stalin Among Moral and Political Imperatives, or How to Judge Stalin? // Soviet Union. 1981. Vol. 8. Pt. 1. P. 1 – 3.
- 42 *Малия М.* Советская история // Отечественная история. 1999. № 3. С. 134.
- 43 *Cohen S.* Rethinking the Soviet Experience: Politics and History since 1917. New York, 1985. P. 34.
- 44 *Laue von T.* Stalin Among Moral and Political Imperatives... P. 12.
- 45 *Meyer A.* On Greatness // Soviet Union. 1981. Vol. 8. Pt. 1. P. 254–255.
- 46 *Barghoorn F.* `Understanding` Stalin – or Critically Judging Him? // Soviet Union. 1981. Vol. 8. Pt. 1. P. 265.
- 47 *Laue von T.* Stalin in Focus // Slavic Review. 1983. Vol. 42. Is. 3. P. 373–389.
- 48 *Kissinger H.* White House Years. Boston; New York, 1979. P. 112.
- 49 *Laqueur W.* Stalin: The Glasnost Revelations. New York, 1990. P. 234.
- 50 *Rigby T. H.* Stalinism and the Mono-organizational Society // Stalinism: Essays in Historical Interpretation. New York, 1977. P. 65; *Cohen S.* Bolshevism and Stalinism // Ibid. P. 27; *Erllich A.* Stalinism and Marxian Growth Models // Ibid. P. 153.
- 51 *Carr E.* The October Revolution: Before and After. New York, 1969. P. 91.
- 52 *Nove A.* Stalinism and After. London, 1975. P. 60.
- 53 *Moore B.* Terror and Progress USSR: Some Sources of Change and Stability in the Soviet Dictatorship. Cambridge, 1954; *Inkeles A.* Models and Issues in the Analysis of Soviet Society // Survey. 1966. July. P. 3–17; *Brzezinski Z., Huntington S.* Political Power, USA/USSR. New York, 1965.
- 54 *Lowenthal R.* Developments vs. Utopia in Communist Policy // Change in Communist Policy. Stanford, 1970. P. 108–116.
- 55 *Dallin A., Breslauer G.* Political Terror in Communist Systems. Stanford, 1970. P. 5.
- 56 *Schapiro L.* Totalitarianism. New York, 1972. P. 111.
- 57 *Dallin A., Breslauer G.* Political Terror in Communist Systems. Stanford, 1970. P. 8.
- 58 *Петров Е. В.* Американское россиеведение. Словарь-справочник // <http://petrov5.tripod.com/welcome.htm>.
- 59 The Transformation of Russian Society: Aspects of Social Change since 1861. Cambridge, 1960.
- 60 The Transformation of Russian Society... P. 223–225, 669; *Gerschernkron A.* Economic Backwardness in Historical Perspective. Cambridge, 1962. P. 28–29; *Rostow W.* The Stages of Economic Growth. Cambridge, 1960. P. 66.
- 61 *Organski A.* Stages of Political Development. New York, 1975. P. 94.
- 62 *Nove A.* Economic Rationality and Soviet Politics: Or, Was Stalin Really Necessary? New York, 1964.
- 63 *Nove A.* Stalinism and After. P. 29.
- 64 *Erllich A.* The Soviet Industrialization Debate, 1924–1928. Cambridge, 1960. P. 164–187.
- 65 *Gill G.* Stalinism. N. J., 1990. P. 26.
- 66 *Lewin M.* The Making of the Soviet System: Essays in the Social History of Interwar Russia. New York, 1985; *Tucker R.* The Soviet Political Mind: Stalinism and Post-Stalin Change / Rev. ed. New York, 1971.
- 67 *Gill G.* Stalinism. N. J., 1990. P. 59, 62–63, 69.
- 68 Ibid. P. 57–58.
- 69 *Linden R.* Khrushchev and the Soviet Leadership, 1957–1965. Baltimore, 1966; *Kelley D.* Toward a Model of Soviet Decision-Making // American Political Science Review. 1974. Vol. 68 (December).
- 70 *Hough J., Fainsod M.* How the Soviet Union is Governed. Cambridge, 1979. P. VII.
- 71 *Skilling H.* Interest Groups and Communist Politics // World Politics. 1966. Vol. 18. Is. 3. P. 435.
- 72 *Barghoorn F.* Politics in the USSR. Boston, 1966.
- 73 *Hazard J.* The Soviet System of Government. Chicago, 1957; *Armstrong J.* Ideology, Politics and Government in the Soviet Union. New York, 1962; *Ulam A.* The New Face of Soviet Totalitarianism. Cambridge, 1963.
- 74 *Easton D.* The Political System. Chicago, 1953; *Lasswell H.* The Decision Process. Bureau of Governmental Research, 1956; *Almond G.* Comparative Political Systems // Journal of Politics. 1956. Vol. 18. Is. 3. P. 391–409.
- 75 *Lane D.* Politics and Society in the USSR. New York, 1978. P. XIII.
- 76 Ibid.
- 77 *Meyer A.* The Soviet Political System; An Interpretation. New York, 1965. P. 468.
- 78 *Kassof A.* The Administered Society: Totalitarianism Without Terror // World Politics. 1964. Vol. 16. Is. 4. P. 558–575.
- 79 *Rigby T.* Traditional, Market, and Organization Societies // World Politics. 1964. Vol. 16. Is. 4. P. 539–557.

- 80 *Armstrong J.* Sources of Administrative Behavior: Some Soviet and Western European Comparisons // American Political Science Review. 1965. Vol. 59. Is. 3. P. 643–655.
- 81 *Barghoorn F.* Politics in the USSR. Boston, 1966. P. 202.
- 82 *Skilling H.* Interest Groups and Communist Politics // World Politics. 1966. Vol. 18. Is. 3. P. 435–451.
- 83 Interest Groups in Soviet Politics. Princeton, 1971.
- 84 *Skilling H.* Interest Groups and Communist Politics Revised // World Politics. 1983. Vol. 36. Is. 1. P. 5.
- 85 *Bunce V., Echols J.* From Soviet Studies to Comparative Politics: The Unfinished Revolution // Soviet Studies. 1979. Vol. 30. Is. 1.
- 86 *Himmelfarb G.* A Letter to Robert Conquest // Academic Questions. 1991. Vol. 4. Is. 4. P. 44.
- 87 *Conquest R.* Power and Policy in the U. S. S. R. The Study of Soviet Dynasties. New York, 1961.
- 88 *Хоскинг Дж. Я* — русский националист // Известия. 2001. 1 августа.
- 89 *Willerton J.* Clientilism in the Soviet Union: An Initial Examination // Studies in Comparative Communism. 1979. Vol. 12. Is. 1. P. 159–183.
- 90 The Behavioral Revolution and Communist Studies; Applications of Behaviorally Oriented Political Research on the Soviet Union and Eastern Europe. New York, 1971.
- 91 *Conquest R.* Power and Policy in the U. S. S. R. *Ploss S.* Conflict and Decision-Making in Soviet Russia. Princeton, 1965; *Rigby T.* Communist Party Membership in the USSR, 1917–1968. Princeton, 1968.
- 92 *Hough J.* The Soviet Prefects. Cambridge, 1969.
- 93 *Bunce V.* Union of Soviet Socialist Republics // Handbook of Political Science Research on the USSR and Eastern Europe: Trends from the 1950s to the 1990s. Westport, 1992. P. 173.
- 94 Цит. по: *Kotkin S.* Kremlinologist as Hero // New Republic Online. <http://www.thenewrepublic.com/110600/kotkin110600.html> (2000, 11 June).
- 95 *Deutscher I.* The Man and His Work. New York, 1983. P. 148.
- 96 *Conquest R.* Power and Policy in the U. S. S. R. P. 3, 8, 9.
- 97 *Cohen S.* Rethinking the Soviet Experience: Politics and History since 1917. New York, 1985. P. 29–30.
- 98 Communist Studies and the Social Sciences: Essays on Methodology and Empirical Theory. Chicago, 1969.
- 99 *Barghoorn F.* Politics in the USSR: A Country Study. Boston, 1966.
- 100 *Fleron F.* Post-Soviet Political Culture in Russia: An Assessment of Recent Empirical Investigations // Europe–Asia Studies. 1996. Vol. 48. Is. 2. P. 225–260.
- 101 *Dallin A.* Bias and Blunders in American Studies on the USSR // Slavic Review. 1973. Vol. 32. Is. 3. P. 571.
- 102 *Keenan E. L.* Muscovite Political Folkways // The Russian Review. Vol. 45. 1986. P. 115–181.
- 103 Цит. по: *Крам М. М.* Историческая антропология // [http://www.eu.spb.ru/history/reg\\_hist/rosobie.htm](http://www.eu.spb.ru/history/reg_hist/rosobie.htm).
- 104 *Керенский А. Ф.* Россия на историческом повороте: Мемуары. М., 1996. С. 34.
- 105 Цит. по: *Петров Е. В.* Американское россиеведение. Словарь-справочник // <http://petrov5.tripod.com/welcome.htm>
- 106 *Tucker R. C.* Sovietology and Russian History // Post-Soviet Affairs. 1992. Vol. 8. Is. 3. P. 161.
- 107 Обобщение результатов НИР дано в работе: *Bauer R., Inkeles A., Kluckhohn C.* How the Soviet System Works: Cultural, Psychological, and Social Themes. Cambridge, 1956; *SIP: Politics, Work, and Daily Life in the USSR: A Survey of Former Soviet Citizens.* Cambridge, 1987.
- 108 *Bell D.* Ten Theories in Search of Reality // World Politics. 1958. April. P. 348.
- 109 *Inkeles A., Bauer R., Raymond A.* The Soviet Citizen: Daily Life in a Totalitarian Society. Cambridge, 1959. P. 351.
- 110 *Ibid.* P. 383 – 384.
- 111 *Almond G.* Review of White // Soviet Studies. 1981. Vol. 33. Is. 2. P. 307.
- 112 *Sartori G.* Concept Misinformation in Comparative Politics // American Political Science Review. 1970. Vol. 64. Is. 4. P. 1033 – 1053.
- 113 *Bunce V., Echols J.* From Soviet Studies to Comparative Politics: The Unfinished Revolution // Soviet Studies. 1979. Vol. 30. Is. 1. P. 44 – 46.
- 114 *Almond G., Roselle L.* Model Fitting in Communism Studies // The Nature of the Soviet System, 1992. P. 467.